



Лисы
графства
Рэндалл

софья ролдугина

Софья Валерьевна Ролдугина
Лисы графства Рэндалл
Серия «Лисы Графства Рэндалл»
Серия «Миры Софьи Ролдугиной»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67889754
Лисы графства Рэндалл: RUGRAM; Москва; 2019
ISBN 978-5-517-00846-6

Аннотация

Волшебный народ издавна обитал рядом с людьми. Всюду – от чинных, тихих английских городков до диких восточных степей. Всегда – и в незапамятной древности, когда по небу летали только птицы и колдуны, и позже, когда поднялись к облакам дирижабли, задышали паром и дымом быстрые поезда...

Всегда и всюду – пока не пришла Война Железа, которая загнала народ фейри и вообще всякое волшебство в буквальном смысле под землю.

Именно о событиях, которые предшествовали Войне, о том, как фейри вернулись в мир, а также о том, какое отношение ко всему произошедшему имеют лисы графства Рэндалл, и повествует эта книга.

Содержание

Колдун	5
Лисы графства Рэндалл	21
Нелюбовь	39
I	41
2	47
3	51
4	54
Дрессировка	58
Погорельцы	68
Охота за приливами	116
Конец ознакомительного фрагмента.	118

Софья Ролдугина

Лисы графства Рэндалл

© Софья Ролдугина, текст, 2019

© Арина Щербинина, иллюстрации, 2019

© T8 RUGRAM, 2019

© T8 Издательские технологии, 2019

Колдун

Имя его было Аю, и он пришел из степи.

Так говорили.

Правды-то никто не знал. Только старики, иссохшие и коричневые от солнца, помнили, как однажды Аю вошел в деревню с востока. В то утро дул сильный ветер; он гнал клубы пыли по земле и тучные облака по небу. Сторожевым приходилось несладко. Наверно, потому и проглядели зоркие глаза, когда, кутаясь в лохмотья, проскользнул через открытые ворота мальчик. Волосы его были грязны и спутаны, как собачья шерсть. От него пахло дымом, гарью и сладкими цветами харем-нар, чьи белые корни прорастают на курганах сквозь кости мертвецов. Мальчик дошел до колодца, поднял наверх ведро студеной воды, умылся – и сразу стало ясно, что он не из этих мест. Ни у кого тут прежде не видели такой белой кожи, даже у ханских жен, которые купались в молоке и травяных отварах.

Бабка Кимет, которая была тогда щербатой девчонкой, подскочила к нему и спросила:

«Как тебя звать?»

«Аю», – ответил он и улыбнулся так, что в сердце у Кимет запели птицы. А потом стер воду с лица и пошел на окраину деревни, где стояли пустые, брошенные дома. Выбрал тот, что поцелее, и поселился в нем, не спросив ни у кого разре-

шения. Старейшина сходил поговорить с пришлецом и решил, что он родом из дальней деревни, сожженной кочевниками. Степные законы святы – погорельца выгонять нельзя.

Так Аю стал жить один, ни с кем не заводя дружбы. Только босоногие девчонки прибежали к нему позубоскалить и спеть песенку под окном.

С тех пор прошло сорок лет. Кимет состарилась, и зубы у нее выпали совсем; старого хана, по обычаю, убил младший внук и в тот же год завел первую жену; трижды кочевники прокатывались по степи огненной волной, стаптывая высокие травы до самой земли.

Но если прочих-то время клювом исклевало, когтями истерзало, то Аю оно лишь крылом коснулось. Был мальчишка – стал мужчина. Высокий, только в кости по-прежнему тонкий – не то, что приземистые, широкоплечие степняки. Белые пальцы его были слишком нежны для работы; Аю не растил ни коз, ни коней, не пряд шерсть, не шил ни рубахи, ни сапоги, не нанимался в подмастерья ни к кузнецу, ни к гончару, ни к кожевнику. Но каждый раз, когда луна отъедалась на небесных пастбищах, когда округлялись ее бока, он уходил в степь на три дня и возвращался с полным заплечным мешком трав.

И не было в деревне хоть одного человека, который бы никогда не менял на пороге дома Аю хорошую рубашку, пару сапог, кувшин молока или полоску вяленого мяса на це-

лебный отвар, или на пахучую мазь на козьем жиру, или на ароматную травяную косицу, что жгут в доме от всякой ку-сачей твари, которая заводится в шкурах и не дает покоя ни ребенку, ни старику.

Волосы у Аю были длинные, как у ханских жен, но те прятали их под платками и накидками, а он – переплетал с ядовитыми травами, с бледными степными розами, с белыми косточками на длинных нитках и бусинами из прозрачного небесного камня.

На руках у Аю были браслеты, и шнуры, и тонкие косицы из трав.

Аю называли колдуном и принимали его, как горькое лекарство – морщась, но зная, что оно несет избавление от беды.

Так было до тех пор, пока однажды, в предзимье, молодого хана не настигла острая стрела и он не повелел раскинуть шатры у стен деревни.

Всем в степи известно, что нет никого на свете изнеженной ханских жен, потому что у них одна забота – лелеять свою красоту. А это непросто. Многого нужно делать: купаться в молочной воде, растирать кожу душистыми маслами, танцевать, чтобы тело было стройным и сильным, облачаться в цветные шелка... Жены следуют повсюду за своим господином, и лишь когда он болен или умирает, удаляются прочь, чтобы не отпугивать ревнивую удачу; она ведь тоже женщи-

на, соперниц не терпит.

Потому и остался молодой хан на попечении лекарей в расшитом обережными знаками шатре, а жен его отвезли в деревню; старейшина с семьей своей рад был уступить красавицам свой дом, и радость эту всячески укрепляли воины из ханской свиты, с острыми копьями и луками из дерева тиг; при одном взгляде на них просыпался в любом человеке дух гостеприимства и невиданной щедрости.

Жены были красивы. Первая, старшая – как ночь, ясноглазая, черноволосая, в покрывалах из темного шелка. Вторая – как огонь, меднокожая, грациозная, гибкая. Третья, самая младшая – как степная кошка, томная, хитрая, с шагом беззвучным и торопливым. Но прекрасней всех была та, что походила на нежный цветок иссы – белокожая, с волосами цвета меда и глазами, как ночное небо. Прислужницы, что стирали у ручья шелковые драгоценные покрывала, говорили, что младшая жена родом с севера, из тех краев, где лед сходит с земли только летом; что была она дочерью одного правителя и ушла в степь с ханом в залог долгого мира – не стал бы хан войной идти на отца своей жены.

А звали ее Сёйне.

Прочие жены никогда не покидали дом, и только иногда слышался их смех или песни у открытого окна. Но другой была Сёйне. Она поднималась еще на рассвете и шла через всю деревню, к воротам, и дальше, в степь, к холму или к ручью. А за нею неизменно следовали две немые женщины,

несущие белый холст, кисти из желтой кости и драгоценного меха, деревянную раму и короб, в котором звенели сосуды с драгоценной краской. Когда Сёйне находила то, что услаждало ее взор изысканной красотой, то велела прислужницам остановиться, а затем натягивала холст на раму, открывала сосуды с красками и рисовала – день, два, три, четыре и так, пока не бывала закончена картина. А порою Сейне не прикасалась ни к кистям, ни к холсту, а лишь смотрела на непостоянную красоту, словно желала, чтобы та навеки осталась в ее глазах и сердце. И чем ближе была зима, тем чаще замирала белокожая северянка, глядя в серое небо или на тонкий ледок на влажной земле.

Служанка жаловалась, что светлая госпожа её грустит, и не могут развеять печаль ни сухие фрукты в меду, ни песни, ни даже пляски. А хан все еще не излечился, и лекари говорили, что, наверное, свернуть шатры и отправиться в путь он сможет, лишь когда степь зацветет по весне.

Однажды Сёйне сидела у ручья, смотрела, как быстро бежит вода, и думала: «Верно, и время бежит так же. Зачем я покинула свой дом? Там знали меня, почитали мои картины и каждый взгляд ловили. А здесь я одна из четырёх жён, и даже хан краски и холст почитает за дурную блажь, а едва я скажу слово поперек – грозитя войной с отцом моим».

А потом кто-то сказал ей:

«Не плачь».

Сёйне подняла взгляд и увидела прекрасного юношу. То

был Аю. В волосах его, перевитых с травами, цвели бледные розы, черны были глаза его, а кожа – белая, как снег, по которому истосковалось жаркое сердце Сёйне. И так захотелось ей продлить этот миг, что не спросила она гневно: «Кто ты?», не позвала служанок, а сказала:

«Кто бы ты ни был, позволь нарисовать себя».

Аю улыбнулся и пообещал прийти назавтра, а потом добавил:

«Только если ты не будешь больше плакать, царевна».

Сказал – и ушел, неслышно, как вечерняя заря. А за ним стелился запах грозы, дыма и цветов харем-нар, чьи корни оплетают кости мертвецов.

Всю ночь думала Сёйне о незнакомце, всю ночь не спала. Сердце её стало гулким барабаном, и удивлялась Сёйне, отчего никто не слышит этого звука, отчего никто не спрашивает, что с нею случилось. А когда наступило утро, она позвала служанок и велела им принести ароматные масла для тела и костяные гребни, привезенные с севера. Удивленно переглянулись прочие жены; никогда прежде Сёйне не украшала себя, если не было хана рядом; а потом решили, что глупая северянка решила тайком пробраться к нему, обманув лекарей, и на том успокоились.

Сёйне же поспешила к ручью, и немые служанки несли за нею холсты и краски. Она боялась, что Аю не придет вовсе, но еще издали увидела – он ее ждет.

В тот день Сейне не отважилась произнести рядом с ним ни единого слова. Только макала тонкую кисть в краску и подносила к холсту, не отводя взгляда от прекрасного лица. Аю улыбался и оставался недвижим, как мертвец, и прекрасен, как сон перед рассветом. Когда Сейне смотрела на него, ей казалось, что она пробуждается, словно цветок соль, что первым распускается весной и наполняет северные леса запахом пьяным, медовым.

Аю пришел и на следующий день, и на следующий тоже. Сейне осмелела и стала задавать вопросы. Но не затем, чтобы узнать ответы, а лишь для того, чтобы послушать его голос.

А немые служанки – наоборот, запоминали все накрепко.

«Правда ли, что ты колдун?»

«Правда».

«Из этих ли ты мест? Другие люди на тебя не похожи...»

«Нет, не из этих».

«А хочешь ли вернуться домой?»

«Нельзя желать того, что невозможно исполнить».

Услышав это, Сейне хотела посетовать, что желает невозможного, но не успела. Аю улыбнулся и произнес:

«Не бойся. Ты не из тех, чьим желаниям не суждено сбыться. Твои дороги все еще открыты, – и добавил: – А теперь я пойду. Старая Кимет просила сладкий отвар от дурных снов, а взамен обещала починить мои сапоги».

После этого разговора Сейне боялась, что колдун больше не придет, но он вернулся. И потому весь следующий день

она не спрашивала важных вещей, только глупости:

«Когда ты вплетаешь в косы свои дикие розы, не колют ли острые шипы твои руки?»

«Нет. С розами у меня уговор. Они цветут в моих волосах и не жалят меня, а я продлеваю им жизнь до весны».

«А что это за синий стебелек в твоей косе?»

«Это жар-травка. Из нее делают самый сильный яд в степи. Он в тысячу раз сильнее, чем у степной змеи».

«Если так, то сам ты не боишься умереть от яда?»

«Не боюсь, – улыбался Аю. – Чтобы травка эта стала ядовитой, нужно раскусить стебелек и до трех сосчитать. Тогда человек заснет и не проснется больше».

Вспомнила тут Сёйне, что с весной свернут ханские слуги шатры и двинется дальше вечное кочевье, и опечалилась.

«Подари мне один стебелек этой травы», – попросила она Аю, а тот засмеялся:

«Спой для меня, царевна, тогда подарю».

И стало вдруг Сёйне так легко-легко, словно снова она очутилась в заснеженном своем тереме, и не было у нее тяжелых шелковых покрывал, расшитых драгоценным бисером, и грелись собаки у очага, и звенели медные струны айны. Полилась песня севера над бескрайней степью – сильная, чистая, славящая битвы и смерть в бою.

И где-то далеко-далеко вздрогнул отец Сёйне – защемило вдруг сердце.

С тех пор день ото дня расцветала северянка. А на белом холсте, как изморозь на окне, проступали черты Аю. Жены, давно прознавшие, зачем ходит Сёйне к берегу ручья, сиделись на нее – мол, позорит она хана, но ничего поделывать не могли. А потом младшая из них, та, что нравом была похожа на степную кошку, пробралась ночью к шатру хана, обошла лекарей и шепнула мужу на ухо:

«Похитил колдун сердце твоей северянки».

И хотела уже сбежать так же тихо, как и пришла, но тут схватил ее хан за рукав:

«Расскажи больше. Что за колдун?»

А та и рада наушничать.

«Говорят, что глаза его темнее ночи; говорят, что кожа его белее молока; говорят, что степные розы цветут в его волосах, а всякий, кто взглянет на него – потеряет покой».

И, хотя была на дворе густая, как вязкое масло, ночь, в тот же миг повелел хан привести к нему Сёйне. Разбудили ее слуги без жалости и, босую, простоволосую, повели к шатрам – даже покрывала на голову накинуть не позволили. Услышала Сёйне обвинения и улыбнулась:

«Сам ты, господин, горе выдумал, сам же его и испугался. Верна тебе была и впредь буду».

«Почему же ты тогда всякий день к нему спешишь, как и к любимому мужу не спешила?» – хан брови нахмурил, а младшая жена, та, что от кошек степных лукавства зачерп-

нула, из-за плеча его выглядывает, улыбается довольно. Все ей ссоры в радость. Чем больше шуму – тем лучше.

«Потому хожу, что портрет его пишу. Тонкой кистью, на белом холсте, драгоценными красками... А как завершу работу свою, то даже ты увидишь, что не простой я откуп от войны, что у меня душа и дар есть, а не только белая кожа и медовые волосы».

Тут хан засмеялся, как смеется седая гора, обрушивая лавину на беспечного путника:

«Зачем жене дар, зачем душа? Нет, полно меня позорить. Завтра велю разложить костер высокий. Колдун не колдун, а от огня никто не уберется».

Сказал так хан, хлопнул в ладоши, призвал слуг и воинов. Сейне он повелел запереть в доме и не пускать никуда, а еще – снести весь хворост к ручью и маслом пропитать. И, прогнав лекарей прочь, поднялся хан с ложа, надел стеганный доспех и сам во главе воинов пошел за колдуном. Даже о ранах своих позабыл.

Ждал его Аю на пороге своего дома, будто заранее знал обо всем – знал и встретил смехом:

«Вижу, ревность тебя отравила, молодой хан! Хочешь, приготовлю тебе лекарство? Всего-то нужно выпить залпом кувшин кислого молока да закусить солеными грибами – и точно тебе не до пустой ревности будет».

Разозлился хан:

«Что за лекарство? Вот увижу я, как звери твои кости рас-

ташат – это меня точно излечит!»

«А это, – отвечал Аю, – вряд ли. Против меня ни один зверь не пойдет».

И долго они еще так спорили, да надоело младшей жене ждать. Тайком пробежала она в середину деревни, к колодцу, сорвала с головы своей покрывало, растрепала волосы и стала громко плакать и причитать:

«Ой, горе, горе этой деревне и людям ее! Навлек на них беду колдун Аю! Хотел он хана великого проклясть, со свету сжить – да не вышло! И теперь гневается хан, грозитя деревню дотла сжечь, если не отдадут ему колдуна злокозненного! Ой, горе, горе!»

Заслышав этот плач, люди стали выходить из домов и оглядываться испуганно. А кое-кто тут же и припомнил, что-де глаз у Аю нехороший, что не стареет Аю уже много лет, что пропадает куда-то в полнолуние... И стали роптать люди:

«Зачем нам такой колдун? Раньше без него жили – и горя не нажили, а с ним и горе тут как тут, на пороге стоит – открывай, мол, хозяин!»

Сбились в стаю – куда там степным собакам! – и пошли к дому Аю. Смотрят – а хан-то уже от злости побагровел, кулаками потрясает, а слова уже сказать не может. Аю же как стоял на пороге, так и стоит – зубоскалит только.

...Так и не вспомнили потом, кто первым камень бросил. Но где один, там и второй, где второй, там и третий... Будто в дурмане это было. Лишь тогда опомнились люди, когда

заголосила старуха Кимет:

«Птицы замолчали, птицы замолчали! Что же вы делаете-то? Птицы замолчали...»

И заплакала.

И глупый был это крик, но страшно сделалось всем. Даже хану; только он-то страха показать не мог – нахмурился, рукою махнул:

«На костер его, жечь!»

Будто и не боялся ничего.

Тронули воины слуг легонько копьями – не до крови, а так, подбодряя, смелость внушая. Разок-другой без толку, а на третий зашевелились слуги, поплелись к колдуну, что лежал окровавленный у порога своего дома, подхватили его за руки – за ноги – и потащили к ручью, где сложена была высокая куча хвороста. Раскачали-раскачали – и закинули на самый верх.

Увидела это младшая жена и побежала к дому, где заперли северянку. Смеется под окном, заливается:

«А колдуна-то твоего жечь собираются! Не ходить тебе с ним больше к ручью, не позорить хана! Станешь ты опять примерной женой, будешь нас слушаться, нас рисовать тонкой кистью на белом холсте!»

Услышала эти речи Сёйне – забилась, как птица в клетке, что грудью бросается на прутья, пусть и не может их сломать. А младшая жена все не понимается:

«Чуешь, дымом понесло? Это костер разгорелся!»

«Слышишь, люди поют? Это радуются они, что колдун погибает».

«Слышишь крик? Это он, он, Аю твой кричит!»

И правда – замерла Сёйне, и знакомый голос коснулся ее ушей. Искажен был он от боли, но все так же чист и звонок. От горя еле живая, выдернула Сёйне из-за пояса синюю травинку, прикусила ее – и упала замертво.

Костер догорел, и пепел по ветру развеяли. А хан, довольный, возвратился в свой шатер. Младшую жену он позвал к себе и наградил ее кольцами, серьгами и звонкими браслетами.

А потом узнал, что Сёйне с той самой ночи так и не очнулась – и испугался. Сразу вспомнилось ему, как красива была северянка – белокожая, златовласая, с глазами, будто ясное небо. И созвал хан всех лекарей, каких мог найти, но никто так и не сумел ее исцелить. Тогда старшая жена, что была мудрее всех, посоветовала ему клич кинуть – мол, кто вылечит северянку, тому достанутся несметные сокровища. А какие – не говорить; любопытство лучший погонщик, чем алчность.

Так хан и сделал.

И потекли к нему рекою лекари, и чудотворцы, и лгуны простые, и от всех было одинаково мало проку. А потом пришел к шатру его сгорбленный старик в гнилых лохмотьях, от которого пахло дымом и красными цветами харем-нар, что

только на курганах растут.

Стал хан, как и прежним соискателям, обещать ему чудесные сокровища, но старик поднял сморщенную руку и сказал хриплым голосом:

«Не надо мне богатств. А отдай мне то, что для твоей жены дороже жизни оказалось».

Побледнел хан, вспомнив колдуна.

«Нет такого сокровища у меня».

«Ну, что ж, – произнес старик и на ноги поднялся. – Тогда я пойду».

«Постой, – испугался хан. – Солгал я. Осталась одна вещь от того, кто для Сёйне дороже жизни стал. Портрет, нарисованный тонкой кистью на белом холсте. На нем колдун, как живой».

Обрадовался старик:

«О, мне это подойдет. Вели принести портрет в шатер к жене твоей. Я же войду в тот шатер с закатом. И пусть до рассвета никто меня не тревожит, иначе лечение не выйдет».

А у хана уже от запаха дыма и цветов голова кругом пошла. Каждое слово старика верным ему казалось; кивнул он, в ладоши хлопнул, призвал слуг – и точь-в-точь повторил им просьбу странника.

Как только пала на землю ночь, черная, как перья птицы на рун, слуги принесли в шатер, где лежала Сёйне, драгоценный портрет, проводили к изголовью северянки старика со всем почтением – и удалились. И только они вышли, как

сбросил старик рваные покрывала, подошел к портрету – и провел по нему рукою.

«Не время, – прошептал старик. – Пусть луна взойдет».

Сказал так – и прорезал в шатре узкую щель. А когда поднялась царица небес на звездное пастбище, когда заструились бледные лучи на помертвелую степь и один самый тонкий луч проник в шатер и коснулся портрета – стал вдруг старик молодеть. Глядь – почернели седые волосы; расцвели в них розы, прежде сухие; кожа, коричневая от солнца и ветров, стала снова белой и нежной, как молоко; а глаза его стали как черное стекло.

Посмотрел Аю на свои руки молодые, рассмеялся и сказал:

«А вот теперь пора».

Вынул он из своих волос синие травинки, растер их с лепестками степной розы, искупал в лунном свете – и возложил на губы Сёйне. И мгновения не прошло – распахнулись ее глаза.

Увидела Сёйне колдуна и улыбнулась:

«Так я и знала, что ты обманул меня. А говорил ведь, что сильнее яда, чем в жар-траве, во всей степи не сыскать».

Аю только рассмеялся:

«Да разве б я тебе смог яд отдать? Нет, царевна. И не надейся, что убежишь от меня в смерть. Пойдем лучше отсюда вместе, – вздохнул, глаза смущенно опуская: – Правда, жизнь у меня нелегкая. То там, то тут на костер отправят...

Я уже весь до костей дымом пропах, а им все мало».

«Ничего, – утешила его Сёйне. – Я к запаху краски с детства привыкла, меня каким-то дымом не напугаешь».

И долго еще они разговаривали, но неумолимо было время, и рассвет в двери небес постучался. И с первым лучом солнца растаяла, как весенний лед, северянка, и с нею исчез Аю.

Утром хан со своей свитой вошел в шатер, но увидел там лишь портрет. Смеялся с белого холста Аю:

«Глупый, глупый! Не уследил за женой – она теперь моя будет».

И никто, кроме хана, этого смеха не слышал; захотел хан выбросить тот портрет в огонь – но не смог, рука плетью повисла, язык онемел – и не прикажешь даже ничего.

Молча развернулся хан и покинул шатер. А портрет на месте оставил. Говорят, что нашел его потом странствующий мудрец, отвез на север и продал за большие деньги какой-то знатной госпоже.

А хану младшая жена весной родила сына.

Черноволосого, белокожего и черноглазого.

То-то было шуму...

Лисы графства Рэндалл

Как-то раз по осени собаки лорда Рэндалла затравили огромного лиса. Редкостно красивого – шерсть длинная, шелковая, сплошь черно-красная, а кисточки на ушах и кончик хвоста будто в серебро макнули. Охотники, понятное дело, обрадовались такой знатной добыче. Но только лорд поднял ружье на плечо, чтобы аккуратно пристрелить зверя и не попортить чудесную шкуру, как лис заговорил по-человечески:

«Приветствую тебя, молодой лорд. Хочешь верь, а хочешь не верь, но я Король из-под Холма и великий чародей. И только один день в году хожу в лисьей шкуре. Ты, конечно, можешь пристрелить меня сейчас, а голову мою повесить над камином... но лучше отпусти меня. Владения наши рядом, когда-нибудь да сочтемся».

Лорд Рэндалл был юношей не только красивым, но и хорошо воспитанным, а также весьма умным – словом, весь в почтенную свою матушку удался. И потому он выслушал речи лиса с превеликим вниманием, не стал ничему удивляться и учтиво ответил:

«Что ж, дорогой Лис, если на самом деле ты не лис, а Король из-под Холма и великий чародей, то в таком случае мой долг – пригласить тебя к столу. Скоро уже вечер, и мы как раз собирались вернуться в замок. Повар сделает олененка

на вертеле, потушит зайчатину, пару уток запечет – не Бог весть какое угощение, но все же после целого дня в лесу пойдет. Да и вино у меня, не прими за хвастовство, замечательное. Может, это и не слишком щедрое предложение, дорогой Лис, но лучше уж вечерок посидеть за столом по-человечески, чем бегать по лесам и полям. К тому же дождик, кажется, накрапывает».

От такой заботы Лис растрогался, прослезился, изящно утер лапкой острую мордочку и, конечно, принял любезное приглашение молодого лорда Рэндалла.

В замке же повара расстарались на славу. Не пожалели ни пряных трав, ни редких специй, а потому дичь вышла такой замечательной, что и Его Величеству подавать не стыдно. Лорд Рэндалл сел во главе стола, а Лиса усадил по правую руку от себя, на красные бархатные подушки, сам подливал ему вина и развлекал остроумной беседой. Лис тоже показал себя с наилучшей стороны – столовый прибор держал аккуратно, не то, что всякие отставные полковники, смеялся легко и искренне, рассказал несколько поучительных историй и одну непристойную. А когда большие часы пробили полночь – и впрямь обернулся юношей редкой красоты, только с лисьими ушами и немного пьяным. Ну, да кто в наше время без недостатков?

«Обычно этот день в году для меня самый несчастный, – улыбнулся он. – А благодаря тебе, юный лорд, сегодня я замечательно провел время».

А лорд Рэндалл, по правде говоря, тоже весьма захмелевший к тому времени, возьми, да и брякни:

«Что же ты все зовешь меня лордом да лордом, будто мы чужие? Зови, как зовут все мои друзья – Валентином».

Услышав это, Лис ужасно огорчился, потому что имя-то лорд назвал настоящее. А сам Лис, как ни крути, был Королем из-под Холма и великим чародеем, а значит – нечистой силой, и настоящее имя давало ему безграничную власть над человеком.

«Что же ты наделал, Валентин? – вздохнул он. – Проучить бы тебя, чтобы ты не называл свое имя кому попало – голову, к примеру, отрубить, или превратить тебя на год в бессловесное чудище... Но, видишь ли, я тебе кругом обязан за сытный ужин и радушный прием. А потому мне только и остается, что побрататься с тобой и сказать тебе свое настоящее имя. Зови меня Эйлахан, что значит „Искусник“, и будь моим братом!»

Потом они, как положено, обменялись кровью, крепко обнялись, поклялись во всем помогать друг другу – и пьянствовали до самого рассвета, пока не закончилось вино, а их обоих не сморил здоровый сон.

Следующим вечером, когда Эйлахан-Искусник покидал названного своего брата Валентина, то взял с него обещание непременно навещать Замок под Холмом – не реже трех раз в месяц. Валентин заверил его, что будет делать это с превеликим удовольствием. И, довольные друг другом, они рас-

стались.

Дни летели за днями. Все чаще Валентин пропадал в замке своего брата Эйлахана. И многим такое положение дел совершенно не нравилось – еще бы, лорд водит дружбу с Королем из-под Холма, с великим чародеем!

Наконец нашелся доброхот, который написал в столицу, причем не только Георгу Шестому по прозвищу Карлик, но и самому Епископу – словом, нажаловался властям и светским, и духовным.

Георг Шестой и Епископ были уже глубокими стариками – желчными, сердитыми и с язвой желудка. От вина у них болела голова, а о плясках вокруг костра им пришлось позабыть, кажется, еще в позапрошлом веке. Разумеется, в таком почтенном возрасте они уже не понимали прелесть юношеских забав, а потому не одобрили поведение лорда Рэндалла и решили наказать беспечного юношу. Самым что ни есть жестоким образом – женить на какой-нибудь благочестивой дурнушке из хорошего рода, которая стала бы следить за каждым его шагом и не позволила общаться со всякими лисьими чародеями.

Сказано – сделано. И примерно к середине лета Его величество Георг Шестой издал приказ – лорду Рэндаллу срочно жениться, а иначе, мол, строго не судите – голова с плеч, пятое-десятое. Лордов много, а королевство одно – если не станешь держать их в ежовых рукавицах, так они через год-

другой его и развалят, камня на камне не оставят. А к приказу королевскому Епископ приложил свой список невест – выбирай, не хочю. Все набожные, ворчливые и дурнушки. А в конце приписочку сделал: если хочешь, женись, мол, на любой другой девушке, главное, чтоб она знатной была, но на всё тебе дается месяц.

Когда Валентин получил оба письма, то очень расстроился. Конечно, ведь от срока, отпущенного ему, оставалось дня три. Как за это время найти себе невесту, если до того за девятнадцать лет ни разу не задумался о браке? Жениться на ком попало молодому лорду не хотелось – еще бы, попадетсЯ девушка неумная и сварливая, так через год сам в петлю полезешь. Однако же терять голову хотелось еще меньше.

Чтобы немного развеять свою печаль, Валентин оседлал коня, поехал потихоньку вдоль леса... Сам не заметил, как оказался у заветного холма, где начинался путь в королевство Эйлахана. И сразу от сердца у юноши отлегло.

«Что это я, уже с жизнью распрощался? – подумал Валентин. – Зря, что ли, моего названного брата зовут Искусником, великим хитрецом и чародеем? Попрошу у него совета».

Валентин назвал заветное слово. Холм расступился, и открылась дорога в тайное королевство. Слева и справа от нее цвел шиповник, в небе застыли два серебряных солнца, а на мостовой грелись ящерицы, зеленые и голубые.

Эйлахан издали почуствовал, что с Валентином случи-

лась беда, и сам выехал ему навстречу, захватив корзину с вином, сыром и яблоками. Какие беседы – да на голодный желудок?

При встрече братья спешили, крепко обнялись и расположились под раскидистым дубом. Там Валентин показал Эйлахану оба письма, и королевское, и епископское, и рассказал о своем горе.

«Говорят, что ты могущественный чародей, брат. Если ты не поможешь мне – то никто не поможет».

Эйлахан задумался надолго, а потом произнес:

«Могущество могуществом, конечно, однако найти за три дня в невесты девицу красивую, умную, благородную, да чтоб еще она с легким сердцем отпускала тебя на пиры в мое королевство под Холмом – задача нелегкая. Но не отчаивайся – я знаю, что делать».

Сказав это, Эйлахан поднялся на ноги, воткнул нож в землю, перескочил через него – и обернулся огромным лисом. Красивым – шерсть длинная, шелковая, сплошь черно-красная, а кисточки на ушах и кончик хвоста будто в серебро макнули. И тут же отовсюду начали сбегаться лисы, большие и маленькие, роскошные и облезлые, рыжие, белые и черные – словом, всякие. Они садились вокруг дуба, а когда собралось их великое множество – начали перетягиваться с Эйлаханом. И так, кажется, разумно, почтительно – как вассалы со своим королем. А потом разбежались, будто их и не было. Эйлахан перепрыгнул через нож и снова стал собою,

только левый ботинок с правым у него перепутался и уши остались лисьими – ну, да кто из нас без недостатков?

«Слушай. Валентин, – сказал Эйлахан. – Все, что мог, я сделал. Давай подождем два дня, а если за это время не найдется для тебя хорошая невеста – женишься на той девице, которая у Епископа в списке предпоследняя. Я ее мать знал, Ирэн Чернушку. Славная девица была, хоть и кривая на один глаз. Ведьма – авось и дочка в нее пошла?»

На том и порешили.

Два дня провел Валентин в волнении и ожидании. А утром третьего собрался было посылать за девицей, на которую Эйлахан указал, как послышалось у ворот лисье тьяканье. Вышел он на дорогу и видит – стоит повозка расписная, но ужасно облезлая. Впряжены в нее самые что ни есть обычные лесные лисы, а внутри, на скамье, сидит замарашка чумазая в голубом платье и поглядывает сердито.

Пока Валентин соображал, что да к чему, одна лисица из упряжи выпуталась и подошла к нему. Он глянул – а у лисы в зубах конверт с Эйлахановой печатью. Раскрыл его, прочитал письмо:

«Милый брат!

Нашел я тебе подходящую невесту. Это единственная дочь герцога Марксбурга, Гвенда Пропавшая. Цыгане ее выкрали двенадцать лет назад, а теперь ей шестнадцать исполнилось – самое время замуж выходить. Покажи ей то кольцо, что подарил

тебе зимою – цыгане ко мне большое уважение имеют – и поспеши сделать предложение. А как обвенчают вас по церковному обычаю, так поезжай к герцогу Марксбургскому с вестью, что нашлась его дочь. И не забудь показать ему медальон с птицей, который она носит на шее.

Твой навеки Эйлахан».

Прочитав письмо, Валентин приободрился и вспомнил наконец о манерах. Поприветствовал замарашку, как настоящую леди, показал ей заветное кольцо и предложил руку, сердце и все прочее, что в таком случае полагается. Лис же велел накормить лучшей зайчатинной и отпустить на волю.

Неизвестно, что на девицу произвело большее впечатление – Эйлаханово кольцо, обращение с нею или с дикими лисами. Однако она тут же согласилась стать женою Валентина и идти с ним под венец.

После все сделано было, как Эйлахан посоветовал. Тем же днем и обвенчались, а наутро поехали к герцогу с радостной вестью. Замарашка отмытая, кстати сказать, оказалась настоящей красавицей – волосы будто темная ночь, кожа нежная, словно драгоценный шелк, а глаза сияют, как звезды, и все такое прочее, о чем обычно поют романтические менестрели. Нрав у нее, правда, был не самый смиренный – за словом Гвенда в карман не лезла, порою острым язычком своим так могла приложить, как иной и батогом-то не вдарит. Но почему зря она с мужем не спорила, на людях держалась с

ним почтительно, а вскоре полюбила его всем сердцем.

А Валентин... что Валентин? Он в молодой жене души не чаял. И даже не сердился на нее, когда она его, к примеру, в шахматы обыгрывала – а это, надо сказать, среди мужей качество редкостное.

Что же до герцога Марксбурга, то дочь свою он признал сразу, как увидел. Упал на колени и разрыдался, хоть, говорят, прежде за всю жизнь из него никто слезинки выдавить не мог. Ну, да леди Марксбург быстро все в свои руки взяла. Кинулась к дочери на шею, обняла, расцеловала, Валентину улыбнулась по-матерински – словом, проявила себя как нельзя лучше.

Георг Шестой, которого в народе Карликом звали, как услышал про это – едва не лопнул от ярости, да Епископ его успокоил.

«Ни к чему теперь с лордом Рэндаллом ссориться. Он нынче в родстве с самим герцогом, а герцог после вас первейший наследник престола. Если зятя его драгоценного заденете – может и бунт поднять. Кому оно нужно? Главное, что с молодой женой-то лорд под Холм ездить перестанет, а нам того и надо было».

Послушался король разумных речей и успокоился.
Да жаль, ненадолго.

Через год у Валентина наследник появился – очаровательный мальчик: глаза материны, стать отцовская, а хитрость

лисья аж с пеленок чувствовалась. Еще год прошел – и еще сын родился, а потом и дочка. И впрямь стал Валентин реже ездить к своему брату, однако не забывал его. На все праздники в гости звал, о рождение детей ему первому сообщал – словом, вел себя, как и полагается настоящему родичу. А Эйлахан, хоть и смотрел молодого лорда с радостью в глазах, но все же нет-нет, да и вздыхал грустно, вспоминая прежние годы и юношеские шалости.

И все бы хорошо, да только годы шли и для старого короля, для Георга Карлика. И чем сильнее горбилась его спина, чем больше морщин становилось на лице – тем хуже делался и нрав. Всюду виделись королю враги. Он уж стал и с Епископом ссориться...

Тем временем младшенькой Валентина восемь лет сравнялось, а старшему, наследнику – двенадцать. Стал Валентин сына возить «к дяде» в гости – к брату своему названному, к Эйлахану. И снова нашелся какой-то доброхот, который не поленился в столицу написать. Все он припомнил – и то, что лис в замке привечают, как дорогих гостей, и что леди Рэндалл цыганских обычаев не чурается, и что, мол, лорд не только сам с чародеем якшается, но еще и дитя невинное с пути истинного сбивает.

И надо же такому случиться – привезли этот злосчастный донос в то самое время, как разбила короля подагра. Тут уж любой человек будет к милосердию не склонен, а желчный старик... Зачитал ему письмо придворный чтец. Король

только и сумел выдавить, люто вращая глазами:

«Всех казнить на месте!».

Сказанного не воротишь. Утром получил карательный отряд благословенье у Епископа и помчался по дороге в графство Рэндалл.

У Эйлахана сердце было чуткое. Задолго заподозрил он неладное, да истолковал неверно. Боль-то слепа... Подумал Эйлахан:

«Верно, я просто тоскую по прежним временам. Как мы, бывало, с Валентином ночь напролет под Холмом веселились – танцы вокруг костров, вино из лунного света, чародейство... Правду говорят, что ближе брата нет никого на свете. А нынче Валентин все с женою да с детьми. Ко мне приезжает – так и сына везет с собою...»

Подумал так – и решил позвать брата в гости одного, чтоб хоть на одну ночь все стало по-прежнему. Валентин, как получил письмо, не смог отказать. Но все ж и ему тревожно было. Подошел он к жене своей, Гвенде, и спросил:

«А нет ли такого средства у цыган, чтоб знак подать, если близкий человек в беде?»

Гвенда подумала и ответила:

«Есть такое. Погоди».

Сняла она с шеи медальон герцогский, с птицей, и острым краем раскровила себе палец. Потом подозвала детей и им велела сделать то же самое. После нашептала над медальо-

ном нужные слова – и кровь вся в серебро ушла, будто ее и не было.

«Вот, – протянула Гвенда мужу медальон. – Держи его над сердцем. Если со мной или с детьми случится что-то, птица закричит, а из серебра выступит кровь человеческая».

С поклоном принял Валентин этот медальон, надел цепочку на шею, заправил под рубаху – и стал прощаться. С легкой душою поехал к брату, зная, что если будет грозить жене опасность, то птица подаст знак.

Эйлахан же, обдумав все хорошенько, решил, что будет эта встреча последней. Негоже простому человеку с чародеем водиться, какую сказку ни вспомни – всегда от такой дружбы бывает одно горе. Да и ему, Эйлахану вечно юному, тяжело смотреть, как брат стареет. Вон, и нитки седины уже в волосах появились, и шаг стал не такой легкий... Век человеческий короток – зачем же Эйлахану время у Валентина красть, которое он мог бы в замке провести, с любимой своей семьей?

И, решив так, устроил под Холмом развеселый праздник – так, чтоб не жаль было потом «прощай» сказать.

Поет лира, вторит ей флейта, костер взметнулся до неба. Пляшет в венке из листьев и осенних цветов Эйлахан с девицей-лисицей. Пляшет и Валентин. Льется рекою вино из лунного света... И никто не замечает, что время замерло – там, снаружи, три дня прошло, а под Холмом всего час. Видно, так не хотел Эйлахан брата своего названного отпускать,

что против собственной воли сотворил страшное чародейство.

А между тем отряд королевский все ближе и ближе к замку подбирался. Гвенда по мужу истосковалась – села у окна, запела печальные цыганские песни, а дочь ей подпевать стала, как умела. Сыновья тоже погрустнели, бродят по замку, места себе не находят.

Под Холмом второй час всего пошел, а снаружи – целая неделя пролетела. Уже постучались в ворота замка палачи, притворяясь мирными путниками – а Валентин о том не ведает. Вино из лунного света легкое, да пьянит сильнее самых крепких напитков...

Звонко пела флейта, и не слышен был за нею слабый голос птичий:

*Молодой лорд, молодой лорд!
Ты пируешь и пьешь вино,
А жену твою во двор за косы выволокли
И хотят отрубить ей голову!*

И выступила на медальоне первая капелька крови.

Вздрагнул Валентин.

«Брат, не слышал ли ты ничего? Будто птица запела...».

«Нет, не слышал, – качнул головой чародей захмелевший. – То, наверное, лира была».

Еще минута прошла – снова запела птица, уже громче:

*Молодой лорд, молодой лорд!
Ты пируешь и пьешь вино,
А сына твоего старшего
Связали и бросили в реку!*

И выступила вторая капелька крови.

Страшно стало Валентину, а он все на вино грешит, понять не может, почему так плохо.

«Брат, не слышал ли ты птичьего пения?»

«Нет, не слышал. То, верно, флейта была».

И полминуты не прошло – запела в третий раз птица громче прежнего, заглушила флейту и лиру:

*Молодой лорд, молодой лорд!
Ты пируешь и пьешь вино,
А младшего твоего сына травят собаками,
Как лису на осенней охоте!*

Тут весь хмель у Валентина как ветром сдуло. Схватился он за медальон – а тот весь в крови. Эйлахан тоже побелел, сам стал на мертвеца похож. Понял сразу, что случилось.

«Это, – шепчет, – я виноват».

Воткнул нож в землю, перекинулся в огромного лиса и кричит:

«Садись на меня, Валентин! Кони будут час ехать, а я тебя в замок за три удара сердца домчу!»

Вскочил Валентин на Лиса, вцепился в черно-красную

шерсть – и тот взвился вдруг в самое небо, через холм, над верхушками деревьев.

И запела в последний раз птица:

*Молодой лорд, молодой лорд!
Близко ты, а все ж не успеешь:
Отыскали палачи твою младшую дочь,
Хотят сбросить ее с замковой стены!*

Ёкнуло у Валентина сердце, смотрит он на медальон – но четверть его пока чистая, только покраснела немного.

Прыгнул Лис к замку в тот самый момент, как девочку со стены столкнули. Сбросил с себя Валентина, метнулся наперерез, у самой земли подхватил малютку и положил у ног брата.

Увидел ее Валентин – избитую, едва дышащую – и, обнажив меч, бросился в замок. И так велика оказалась его ярость, что даже королевские палачи против него ничего не могли сделать. А кто мог – того Лис пополам перекусывал, и была это страшная смерть.

Как закончился бой, разыскал Валентин свою жену и младшего сына, но едва их узнал – жестоки были палачи. Упал на колени перед мертвыми и заплакал. Плакал до самого рассвета, а когда поднялось солнце, то увидел Эйлахан, что стали волосы у его названного брата белые-белые.

И вдруг затыкала у самого речного берега лиса. Прислушался Эйлахан... и окликнул брата:

«Сына твоего старшего Речной Хозяин укрыв. Но требует за него высокую цену – человеческое сердце. И не простое, а близкого человека, родного, – и зубы стиснул. – В том, что случилось, моей вины вдоволь. Моя музыка заглушила птичий крик, мое чародейство остановило время... Я отдам Речному Хозяину свое сердце».

Но Валентин только покачал седой головой. Глаза у него стали, как у старика.

«Нет, Эйлахан. Это я виноват, что не пришел на помощь своей жене. Это я пировал, когда детей убивали. Я отдам свое сердце Речному Хозяину, а ты забери дочь мою и сына моего под Холм и воспитай их, как своих детей».

Горько сделалось Эйлахану.

«Нет, не живут люди под Холмом – место их на земле. Давай поступим так, брат мой. Ты отдашь Речному Хозяину свое сердце целиком, а я отдам тебе половину своего. Но учти: сделаешь это – перестанешь быть человеком. Придется тебе ходить в лисьей шкуре сто лет и один день, а человеческий облик принимать только под Холмом».

«А дети мои?» – спросил Валентин.

Эйлахан подумал и ответил:

«Я позову лис, они отвезут их к герцогу Марксбургу. А ты напиши письмо и расскажи в нем все, как есть. Герцог Марксбург – хороший человек, он позаботится о своих внуках».

И только они решили так поступить, как поднялась из ре-

ки тугая волна и перенесла маленького лорда Рэндалла через замковую стену. Эйлахан излечил детей, погрузил их в сон и привязал к лисьим спинам. Тут поднялась вторая волна и ударила прямо в Валентина, а когда схлынула – он упал замертво. Эйлахан вынул у себя из груди половину сердца, вложил ее в грудь брату названному и тут же обернулся лисом. А следом за ним – и Валентин. Переглянулись они черными злыми глазами – и взвились прямо в небо, а потом побежали по облакам к столице.

А что дальше было, никто не знает точно.

Люди поговаривают, что не сам Георг Шестой помер, хотя и был ветхим стариком – мол, набросилась на него странная лиса, чернобурая с проседью, и перекусила горло. Видно, брешут – откуда лисе во дворце взяться?

Еще говорят, что на том месте, где погибла Гвенда, выросли прямо из камня белые, как снег, цветы, а там, где погиб младший ее сын – красные, как кровь. Но и тут, верно, привирают – как цветам из камня прорасти?

Что же известно наверняка, так это то, что герцог Марксбург стал потом королем, а после, когда он умер, трон унаследовал Ричард Рэндалл, герцог Марксбургский. Но это совсем другая история.

Про лис в графстве Рэндалл и поныне рассказывают странные вещи.

К примеру, ходит среди людей одна легенда: мол, если

какая-нибудь девушка будет в лесу громко смеяться, то навстречу ей выйдут два лиса, красно-рыжий и чернобурый. И будут они огромными, в человеческий рост, и говорить будут тоже по-человечьи. И красно-рыжий порою предлагает хохотушке прокатиться на своей спине под Холм, а чернобурый вздыхает по-своему, по-лисьи, и смотрит в сторону развалин.

Там, говорят, раньше замок был, а кто в нем жил – никто уже и не помнит...

Нелюбовь

*Кто задремлет на холме
С веточкой тимьяна –
Будет всюду видеть смерть
И погибнет рано.*

*Кто увидит хоровод
Фейри ночью лунной –
Будет проклят через год,
Просльвет безумным...*

Фэлан прикрывает глаза, вслушиваясь в летнюю ночь. Ветер стекает с холма, как шелк с женского плеча – мало, медленно, поторопить хочется, а нельзя.

Душно.

Душно, хотя пахнет дубовой листвой, и травами лесными, и сыроватой землей, и стынью от костей земных, и пьяными цветами из-под Холма.

– Сколько лет прошло, а на Белтайн поют все те же песни...

– Они тебе надоели? – Сирше смеется, а ее пальцы, прохладные и сухие, легонько скользят по его лбу и седым вискам – гладят, ласкают, прогоняют усталость.

– Нет.

Фэлан даже не лжет, просто недоговаривает. Да и что тут

сказать – мне больно от этих песен? Я сожалею о том, что было? Хочу вернуться назад и все исправить?

Сирше может сшить для него рубашку из лунного света, звезду с неба достать и играть ею, как монетой, за одну ночь облететь весь остров от моря до моря... Но обмануть смерть или время – слишком даже для нее.

I

*Кто задремлет на холме
С веточкой тимьяна...*

А началось все с бахвальства, с глупости.

«Никто не сможет вернуться, если заснет на холме и увидит фейри, – Дара лукаво улыбается, зеленоглазая и рыжая. Дразнит. Ведьма, дочь ведьмы, они все такие. – Но говорят, что там растут самые красивые цветы. Хочу их».

Говорит она, вроде ни к кому не обращаясь, а смотрят почему-то на него, на Фэлана-колдуна. Любопытные глаза, жадные до чудес – ну как, сможешь бросить вызов красавице? Или опять она уйдет, насмехаясь – все-то вы мальчишки еще, трусы, болтуны...

«А что мне будет, если я тебе принесу этих цветов?»

Дара опускает рыжие ресницы – плутовка, ведьма... девочка влюбленная и гордая.

«Всё, что захочешь. Только вернись, если сможешь».

Фэлан упрямо хмурится и встает на ноги, отряхивая штаны от прилипших травинок и лесного сора.

«Вернись. А ты смотри, сдержи тогда слово».

Ни отцу, ни деду, ни братьям Фэлан ничего не говорит. Сам плетет амулеты, сам вышивает обережные узоры по по-

долу рубахи – он умеет, он колдун, как бы там Дара не смеялась. Фэлан знает много, но прежде ему никогда не приходилось колдовать одному; этим вечером он испытает свое искусство в деле.

Если Фэлан вернется победителем, никто и никогда не узнает, как ему было страшно.

Увидеть фейри легко – достаточно уснуть в правильном месте и подложить под щеку веточку тимьяна; а вот сбежать от них невредимым сложнее.

Когда Фэлан идет вдоль реки к проклятому холму то мир вокруг кажется ярким и невыносимо прекрасным. Очень хочется жить; ноги как свинцом налитые, непослушные, а дыхание тяжелое.

Назад дороги нет. Отступить нельзя – Дара засмеет, ославит на всю деревню.

...Вечернее небо – высокое, прозрачное, нежное. Оно как поток изменчивого пламени; с запада на восток перетекают цвета – золотой, рыжий, алый, лиловый, лавандово-голубой, синий, иссиня-черный... Тает на языке весенняя прохлада, оглаживает лицо сырой ветер с озера, мнутя и соком истекают под рукою ломкие стебельки цветов – запах горьковатый, свежий, льдистый. Холм дрожит, будто там, под землей, размеренно бьется чье-то огромное сердце.

Фэлан закрывает глаза и слышит смех, пока еще далекий и похожий на шепот листьев. Фейри появляются позже, когда сон начинает смешиваться с явью; они возникают из тумана.

на, облаченные в разноцветные одежды. Арфа, и флейта, и колокольчики из серебра вторят гортанным и высоким голосам. Древняя речь завораживает – и пугает своей чуждостью. Фэлан боится не то что пошевелиться – вздохнуть лишний раз. На этом языке, чьи звуки исполнены таинственного могущества, он составляет заклинания – а фейри на нем говорят, шутят, поют...

А потом Фэлан слышит:

«Эйлахан, смотри, какой хорошенький мальчик! Можно, я...?»

«Иди, – смеется кто-то. Кажется, мужчина; впрочем, этих фейри по голосам не разберешь. – Только возвращайся скорее. Без тебя скучно, Сирше».

Сирше.

Фэлан еще не видит ее, но имя дразнит язык, будто яблочная кислинка. Губы пересыхают, хочется пить.

Сирше, Сирше...

«Эй, – она склоняется над ним, дивное видение в шелке цвета заката. Волосы ее белы как снег, а губы серебряные. – Откуда ты здесь?»



Фэлан не может лгать.

«Пришел... на спор. Обещал нарвать цветов для...»

Фейри касается холодной рукою его лица.

«Она красивая?»

«Очень!» – с жаром восклицает Фэлан и, забывшись, вскакивает. Он заливается румянцем, и фейри смеется – высокая, тонкая, гибкая, древняя, знающая всё и даже больше.

«Сколько тебе лет?»

«Тринадцать», – он упрямо вздергивает подбородок. Взрослый мужчина, колдун, смельчак.

«Хоро-о-ошенький... – тянет фейри. Глаза у нее медовые, томные. – Приходи сюда через два года. Я подожду».

«Я не...»

«Придешь, – улыбается и водит пальцем по его губам. Губы немеют, и язык тоже, как на сильном морозе, но Фэлан будто горит. – А пока возьми это».

Фейри дует ему в лицо, Фэлан жмурится – и просыпается.

На голове у него венок из колокольчиков, а в руках – охапка цветов; разных – всех, что растут в округе, и тех, что не растут, тоже.

Домой Фэлан возвращается шатаясь, как пьяный. У отца в волосах появилась злая седина, руки дрожат – Дара набралась смелости и рассказала, куда отправила его сына. Это было двенадцать дней назад, сейчас тринадцатый.

Позже Фэлан отдает Даре цветы – при свидетелях, и кля-

нется, что они из садов фейри. Дара больше не опускает лукаво ресницы, она смотрит прямо, и ее глаза обещают Фэлану все, что он осмелится попросить. Но он только смотрит мимо, поверх ее плеча, на запад.

Фэлану кажется, что два года – это целая жизнь.

2

*...Будет всюду видеть смерть
И погибнет рано....*

Фейри коварны, фейри хитры, фейри лживы. Из всех пороков им не знаком только один – ревность; зато в человеческой крови его хватает с избытком.

Фэлану теперь двадцать три, и нет от Северного моря до самых гор за проливом ни одного человека, который не знал бы его имя. Слава о колдуне из Кладх-Халлан с каждым годом все ширится. Люди рассказывают о нем разное. Будто бы он умеет оборачиваться соколом и горностаем, разговаривает с камнями, закликает холодное железо и желтое золото, ездит не на простом коне, а на злобном духе речном... А еще говорят, что Фэлану дарит любовь прекраснейшая из фейри – Белая Сирше.

От этих речей Фэлану хочется выть по-волчьи.

Да, он молод, красив и силен, но уже появились на висках первые седые нитки в смоляной гриве волос. Сколько лет ему еще осталось? Двадцать, тридцать? А сколько из них он проведет глубоким стариком, немощным, сварливым и вонючим?

А Сирше так и останется вечно юной и прекрасной до кон-

ца времен.

Когда он умрет, она забудет его.

Фэлан сходит с ума от одной мысли об этом. Он в ярости расхаживает по дому, деревянный настил прогибается под тяжелыми шагами, жалобно скрипят доски.

«О чем думала она, когда начинала эту игру? Чем прельстил ее мальчик, уснувший на холме?»

Он много раз спрашивал Сирше, но та всегда только смеялась в ответ. Смеялась – или целовала, и тогда уже не хотелось ни о чем спрашивать, и губы щипало, как в лютый холод, и каждое прикосновение обжигало.

Любит ли его лукавая фейри? Или просто дурачится, согревает свою бесконечную жизнь ярким, горячим, скоротечным пламенем человеческой любви? Одним из многих в бесконечной череде...

Фэлан хочет быть единственным. Поэтому сегодня он идет к Даре.

Рыжая ведьма встречает его приветливо. Она простила ему все – и пренебрежение, и бесконечные жалобы на Сирше, и даже свое одиночество. В зеленых глазах ее давно уже нет ни игривости, ни кокетства – только усталость и безмерная вина за те двенадцать дней, что Фэлан провел под Холмом.

«Чего тебе нужно на этот раз?» – спрашивает Дара кротко. Она и мысли не допускает о том, что Фэлан может прийти к ней просто так, а не за помощью.

«Зелье. Такое, какое может сварить только ведьма».

«Какое?»

Когда Фэлан рассказывает, Дара впервые за много-много лет испытывает гнев... нет, не так: она захлебывается гневом. Кричит, стучит ногами и, кажется, плачет. Фэлан терпеливо ждет и прихлебывает из чаши травяной отвара, опустив густые ресницы. Все, что Дара может сказать, он уже много-много раз говорил себе.

«Ты же себя погубишь. И ее. Жалеть будешь, никогда себя не простишь», – шепчет она, когда сил на то, чтобы гневаться, уже не остается.

Но глаза Фэлана говорят о том, что он не отступится, и Дара соглашается. Страшный грех берет на себя – обещанное зелье должно связать сердца человека и фейри, пригубивших его. И тогда один будет счастлив лишь до тех пор, пока жив другой. А когда сердце человеческое остановится, то погибнет и бессмертная фейри.

Дара ненавидит Сирше, но не желает ей такой судьбы. Нет ничего горше, чем быть преданной возлюбленным.

Но Фэлану отказать невозможно.

Он говорит, что любит Сирше, но это не любовь, а что-то страшное, разрушительное, жуткое.

Три полнолуния спустя на деревьях начинают распускаться первые клейкие листочки, пахнущие остро и пряно. Весна все уверенней ступает по северным землям. Постепенно успокаивается и ревность Фэлана – Сирше по-прежнему

здесь, с ним. Она тиха и задумчива, чаще прежнего говорит, что любит его.

Теперь в это верится легко, но отступить уже поздно.

Зелье смешано с подогретым вином и перелито в кубок. Едва пригубив, Фэлан протягивает его Сирше.

«Что это?» – спрашивает она.

Белые волосы ее собраны в косу, одежды непривычно светлые и закрытые. Острые плечи укутаны вышитым покрывалом.

«Знак нашей любви».

«Разве нашей любви нужны знаки?» – Сирше смеется, и в смехе ее арфа, и флейта, и серебряные колокольчики.

Любит ли она его на самом деле? Или нет? Может, она играет, и все это для нее не всерьез?

Вот бы получить знак, думает Фэлан. Хоть какое-нибудь подтверждение. Тогда бы он тотчас же выплеснул зелье и был бы счастлив.

«Я люблю тебя, – отвечает Фэлан, не отводя взгляда. – Ты будешь со мною всегда? До самой смерти?»

Прежде это означало – до моей смерти. Но с этого вечера все будет иначе. Теперь они по-настоящему станут равны.

Сирше принимает кубок и осушает его в один глоток.

«До самой смерти...»

А потом наклоняется к Фэлану и шепчет на ухо:

«К осени я рожу тебе сына».

Фэлану кажется, что он падает в пропасть.

*...Кто увидит хоровод
фейри ночью лунной...*

Когда ведьма Дара была молода, она мечтала увидеть Фэлана на коленях – отчаянно влюбленным, страдающим, ищущим у нее утешения. Чтобы волосы цвета воронова крыла разметались в беспорядке по плечам, и шнуровка на рубашке распущена, и в синих глазах – мука смертная. И чтобы пели кругом соловьи, и цвел дикий шиповник, голову кружил сладкий ветер с западных холмов...

Теперь Дара ненавидит себя за эту сбывшуюся мечту. Фэлан здесь, он влюблен и страдает, но чувства его обращены к другой.

«Всеми богами тебя заклинаю, Дара... Верни все обратно! Свари другое зелье, освободи Сирше, я прошу!»

Фэлану тридцать пять, и седины в его волосах уже куда больше, чем смоляной черноты, а лоб изрезали глубокие морщины. Не смазливый мальчишка – могущественный колдун, все еще красивый к тому же. Ишь, как сердце у Дары колотится.

«Не могу. Нет от того зелья лекарства. Ничего не воротишь».

«Прошу тебя, Дара! Все, что пожелаешь, дам тебе!»

В глазах у Фэлана столько боли, что у Дары на языке появляется горечь.

Тринадцать лет назад Сирше родила сына. Два года она жила как простой человек – не спускалась под Холм, не танцевала в лунном свете, не каталась по небу в колеснице, запряженной северными ветрами. Фэлан устлал полы в доме теплыми мягкими шкурами, а если случалось жене выйти наружу – готов был ее на руках носить, чтоб не запачкала она ноги в дорожной пыли. Больше, чем Сирше, баловал он, пожалуй, только сына – мальчика, прекрасного, как зимний рассвет, и не похожего на смертного человека.

«Дара, умоляю тебя...»

«Нет. Прости».

Когда он уходит, Дара долго плачет. Она ведь предупреждала, предупреждала, да разве ее кто послушает... Фэлан и не поймет никогда, почему Дара не могла тогда отказать ему. Он, поди, уже и забыл ту клятву.

«А что мне будет, если я тебе принесу этих цветов?»

«Всё, что захочешь. Только вернись, если сможешь».

Не помнит. Забыл. Все заслонила Сирше – медовые ее очи, белоснежные волосы, сладкий голос и лукавые слова.

«Все несчастья от фейри, – воеет отчаянно Дара. – Всё из-за них».

Но утешения почему-то не помогают. Вина ее тяжка; она пригибает Дару к земле и шепчет вкрадчиво:

«Кабы ты не просила невозможного, ничего б не было».

Даре больно, а еще больнее Фэлану; и только Сирше беспечно танцует с сыном в свете луны и беспечно смеется, не зная, что не сможет разделить с этим мальчиком свое бесмертие. Неважно, сколько ей осталось лет, десять или двадцать; однажды время ее закончится.

Через день Дара находит Фэлана у реки и говорит ему:

«Скажи обо всем Сирше. Она фейри, она мудрее нас с тобой. Может, она знает лекарство от того зелья, или обряд, или оберег».

Фэлан вздрагивает. Лицо его искажается.

«Не могу. Она будет ненавидеть меня, а еще... а еще познает страх перед смертью. Хватить и того, что я один буду мучиться им. Нет, Сирше я ничего не расскажу. Пусть она остается счастливой».

«А что же ты?»

«А я буду искать лекарство один. Я успею».

Он говорит твердо, но вовсе не уверен в своих словах. Дара украдкой вздыхает и отводит взгляд.

Фейри приносят одно горе.

4

*Будет проклят через год,
Прослывет безумным...*

Все это было очень давно.

А теперь Фэлан сед, как лунь, и время скрючило его, согнуло в дугу. Пальцы стали что высохшие ветки – кривые, непослушные. Глаза видят не так зорко, как в молодости – что в человечесьем облике, что в соколином. Единственный и любимый сын странствует в чужедальних землях – учится чародейству у всех, кто готов учить его. Дара уже два года как умерла, и немногие помнят, что та угрюмая крючконосая ведьма была когда-то смешливой рыжей девчонкой с лукавым взглядом.

И только Сирше, прекрасная Сирше по-прежнему рядом с ним.

Высокая, гибкая, тонкая, древняя, знающая всё и даже больше... кроме одного.

Фэлан открывает глаза и смотрит на нее. Белоснежные волосы блестят в лунном свете. У реки деревенские распевают те же песни, что и пятьдесят лет назад, пляшут, жгут костры и прыгают через них. Говорят, что так в огне сгорают печали, горести и проклятия.

Жаль, что ему это не поможет. Он все-таки не сумел найти лекарство, а теперь уже поздно.

И где найти смелость признаться?

А ведь может случиться так, что эта ночь – последняя.

– Сирше, я совершил ужасную...

Она улыбается и касается холодным пальцем его губ, словно запечатывая. Губы тут же немеют, как на морозе.

– Т-ш-ш... Не говори ничего. Я знаю.

Фэлан сначала недоверчиво хмурит брови, но потомглядит в ее глаза и осознает, что она говорит правду.

– Откуда ты... – подхватывается, пытается сесть, но приступ кашля сгибает его пополам.

Сирше гладит Фэлана по волосам, принуждая лечь обратно. Она смеется, как всегда – будто звенят серебряные колокольчики, беспечно и загадочно.

– Ты говоришь во сне, о муж мой. А я никогда не сплю.

Фэлан смотрит на нее снизу вверх и ничего не понимает. Совсем ничего.

– Если ты обо всем знаешь, тогда почему... осталась со мной? Я обрек тебя на смерть.

– Пока не обрек, – улыбается Сирше. У нее глаза цвета мёда и томный взгляд. Она не меняется, сколько бы лет ни прошло – мудрая, вечная. – Ты жив, жива и я. А почему я осталась... Я люблю тебя, Фэлан. Хоро-о-ошенький мальчик...

Вот теперь она точно смеется над ним.

Небо напоминает холодный стеклянный купол, подсве-

ченный изнутри – ало-золотым на западе, лилово-голубым в зените, а на востоке царит иссиня-черная тьма. Лыдистая крошка звезд рассыпана в беспорядке, мерцающая, заманчивая. Холм дрожит, будто там, под ним, бьется заполошно чье-то огромное сердце.

– Сирше, – тихо говорит Фэлан. – Прости меня. Я хотел бы сказать, что жалею о том, что сделал... Но если б все вернулось назад, боюсь, я поступил бы так же. Я не смог бы тебя отпустить. Сирше... – имя тает на языке яблочной льдинкой.

– Спи, – она легонько касается его век. – Никогда не жаль ни о чем. Сожаления превращают любовь в нелюбовь, а жизнь – в пустоту. Ты еще ничего не понимаешь. Мальчишка...

И Фэлан послушно закрывает глаза.

Каждый вдох дается ему все тяжелее. В ушах нарастает звон – то ли искаженный плач флейты, то ли расстроенные струны арфы, то ли серебряные колокольчики бьются друг о друга не в лад. Вспыхивают под опущенными веками золотые звезды.

Вздрагивает земля. Издалека доносится пение на языке древнем и тягучем.

«Эйлахан, я вернулась. Примешь ли ты под холмом еще одного человека?»

Кто задремлет на холме

С веточкой тимьяна –

*Будет всюду видеть смерть
И погибнет рано.*

*Кто увидит хоровод
Фейри ночью лунной –
Будет проклят через год,
Прослывет безумным.*

*Кто любовь отдаст свою
Духам бессердечным –
Будет, будет заточён
Под Холмом навечно!*

Дрессировка

Наблюдая, как вода медленно заливает нижние палубы, Фелиция Монрей мелкими глотками цедила теплый оранжад и думала, что следовало бы поехать поездом, автомобилем, нанять дирижабль, в конце концов. Где угодно больше шансов сбежать, чем посреди открытого моря, и было ошибкой думать, что океанический лайнер догнать сложнее...

Впрочем, нет. Ошибку она совершила раньше – когда решила, что Ремус ей по зубам.

Теперь об этом и помыслить смешно, а тогда...

...Тогда Фелиция решила, что у нее есть шанс.

Нужно было только хорошенько рассчитать, по уму, а уж если чем и могли похвастаться Монреи, то мозгами. Пожалуй, все, кроме основателя рода – того, кто заключил с Ремусом контракт, ну да что поделывать, в семье не без урода. Фелиция глупой не была – разве что самоуверенной, но кто к шестнадцати годам успевает научиться осторожности?

А ситуация складывалась идеальная. Полезные знакомства весь год сыпались как из рога изобилия. Мистер Сиддл, такой же невезучий и вечно прозябающий в долгах, как и большинство изобретателей; экзальтированная Лора Чимни, вложившая почти сорок тысяч в конструирование дирижаблей с дюралевого обшивкой; жених Лоры, так удачно проиг-

равший крупную сумму на скачках; скромный клерк страховой компании по имени Томас Найс, мечтающий о карьере скрипача в Национальном оркестре... Когда новым поклонником рано овдовевшей тетушки Грейс оказался сам Эдвард Стерлинг, меценат, покровительствующий Музыкальной академии, Фелиция решила, что это – судьба.

Свести Сиддла и Лору; насладившись отчаяньем жениха, намекнуть ему на возможность повернуть маленькую спасительную авантюру; замолвить перед Стерлингом словечко за Томми Найса, а взамен попросить о небольшой услуге – оформлении крупной страховки на еще не сконструированный «новый дирижабль Чимни-Сиддла»; лично внести в чертежи одну незаметную, но очень опасную поправку...

Конечно, Лора пригласила на испытания свою добрую подругу мисс Монрей. И ничего удивительного в том, мисс Монрей взяла с собой бессменного и верного слугу, доставшегося ей по наследству еще от отца. А когда фотографа внезапно скрутило за четверть часа до испытательного полета, мисс Монрей щедро предложила, спасая положение:

– Пусть Ремус полетит вместо него. Он не боится высоты и умеет фотографировать. Верно?

– Нет ничего, что было бы мне не под силу, – последовал ответ.

О, разумеется, она это знала. Именно поэтому и выбрала дирижабль – с ружьем или ядом было бы проще, но без всякой гарантии.

«Чимни-Сиддл» разорвало примерно на высоте в полторы мили. Фелиция устроила форменную истерику, рыдая на плече у Лоры по безвременно погибшему Ремусу, а потом взяла кэб и уехала на аэровокзал. В сумочке у нее лежал спрятанный между страниц «Толкователя сновидений» билет на пассажирский дирижабль в Старый Свет.

Утро Фелиция встретила в Брестоне. На завтрак в кофейне она попросила тосты с апельсиновым джемом, черный кофе и свежую газету. Не без интереса прочитав о вероятном крахе известной страховой компании, растущих ценах на газولين и благотворительном аукционе в Гран-Лемане, Фелиция углубилась в двухстраничный репортаж о крушении экспериментальной модели дирижабля под Корнуоллом. Репортер в чудовищно преувеличенных красках расписывал клубы дыма, воронку на месте падения и четыре обгоревших до неузнаваемости тела.

Четыре.

Фелиция закрыла газету дрожащими руками и попросила счет.

Ремус должен был оказаться пятым.

– Мсье, – тепло улыбнулась она официанту из-под густой вуали, вручая более чем щедрые чаевые. – Вы не подскажете, когда отходит ближайший поезд?

Мальчишка ничуть не смутился – наверняка подобные вопросы в кофейне у самого вокзала он слышал едва ли не каждый день.

– В девять, потом в половину десятого... А куда вам нужно?

– Куда-нибудь.

– Убегаете от нелюбимого жениха? – нахально подмигнул официант, смекнув, что жаловаться на чересчур вольное поведение странная леди не станет.

– Ах, если бы...

Кофейню Фелиция покидала в неприличной спешке. Желто-карие глаза мальчишки слишком напоминали о Ремусе.

После Брестона и «Континентального экспресса» был шумный портовый Ардо, дешевая парикмахерская и мужской костюм цвета горчицы, фетровая шляпа и сомнительная гостиница на аллее Художников. С ледяным спокойствием Фелиция наутро поинтересовалась у портье, где можно купить небольшой и нетяжелый револьвер. Ей задали всего один вопрос:

– Умеет ли мсье стрелять?

– О, да, – кивнула она. – Мсье умеет.

Револьвер принесли через два часа, и стоил он четверть ее сбережений. В коробке, обернутой шелестящей розовой бумагой, лежала одна лимонная роза с красноватой каемкой по лепесткам – свежая, словно только что срезанная в саду глуповатой, доброй тетушки Грейс, помешанной на редких сортах. У Фелиции хватило выдержки не спрашивать, как и у кого портье достал оружие. Она расплатилась, наняла ав-

томобиль до вокзала, а там купила билеты на три поезда, отходящих почти одновременно, и до последнего бродила от одного к другому, поглядывая по сторонам.

Потом была знойная Рома, ночное кружение по городу, узкие темные улочки, запах мусора и близкой погони. Фелиция потратила четыре пули из двадцати, чтобы отбиться от темпераментных ромейцев не самой благородной профессии, нюхом почуявших, что за мужской одеждой прячется юная девица. Она была абсолютно уверена, что в самого нахального из них, собственно, и затеявшего травлю, выстрелила дважды – и попала, но потом на мостовой осталось только два тела.

Светловолосого вожака, говорившего с мягким, горловым акцентом, нигде не было.

Измученная и уставшая, Фелиция попросила приюта в монастыре. Грустные монахини, перевидавшие за свою жизнь не одну скрывающуюся беглянку, молча впустили ее и выделили келью. Два дня прошли в спокойствии, без кошмаров и дыхания в затылок, без шепотов по ночам и жутких теней в углах. А потом Фелиция снова не выдержала – и сорвалась. Сбежала еще до рассвета, успела на первый утренний трансконтинентальный дирижабль – и, едва сойдя на землю в прибрежной Кастовице, выкупила на последние деньги билет на отходящий вечером океанический лайнер, следующий в Новый Свет.

Где-то далеко тетушка Грейс ворковала в своем розарии

с мистером Стерлингом, на тайной церемонии Лора Чимни скоропостижно превращалась в миссис Сиддл, брошенный жених отбивался от адвокатов страховой компании, а везучий фотограф благословлял столь своевременное желудочное расстройство... Фелиция Монрей не слишком-то и удивилась, когда ровно посреди круиза на борту вдруг вспыхнула эпидемия неизвестной болезни – и постепенно выкосила всех.

Кроме неё.

Кроме неё...

Вода появилась еще накануне, ночью. Она прибывала отовсюду и до неправдоподобного равномерно. Обнаружив, что машинное отделение затоплено, Фелиция только вздохнула, забрала из каюты револьвер, одеяло и отправилась в рубку – спать. Утром перетащила на мостик судовой дневник, забрав его из рук мертвого капитана, кувшин оранжада, переоделась в платье и принялась ждать, коротая время за чтением и созерцанием неотвратимой катастрофы.

Ремус не заставил ждать себя слишком долго.

– Не стоит пить кислое натошак, мисс Монрей. Испортите себе желудок.

– Еда уже несвежая, – пожалала плечами Фелиция и взвела курок под столом. – А готовить я не умею.

– И не нужно, пока у вас есть я, мисс Монрей. Желаете отбивную по-бастрийски? Или омлет с рисом по-восточному?

Солнце гуляло где-то за плотными облаками, вздыбливались свинцовые волны, мешаясь со свинцовым небом, но даже сейчас казалось, что Ремус светится изнутри. Светлые волосы, прозрачные глаза, тонкие запястья...

Наверно, они с Фелицией напоминали близнецов. Особенно теперь, когда у нее была короткая мужская стрижка и улыбка утомленного сфинкса.

– ...и все-таки, Ремус, я не могу понять, когда ты успел сбежать с того дирижабля.

– Я не сбегал, мисс Монрей. – Море начало задираться вверх, Фелицию вдавило в кресло, и она поняла, что лайнер кренится и затонет совсем скоро. – Ваш сюрприз действительно стал для меня... сюрпризом. Так изощренно меня еще не предавали.

Фелиция переложила револьвер из руки в руку и вытерла влажную ладонь об юбки.

– Вероятно, мой отец...

– Ваш отец, мисс Монрей, пал жертвой собственной трагической неосторожности, – испустил долгий вздох Ремус и разгладил и без того безупречные манжеты. – Могу я поинтересоваться, почему вы решили от меня избавиться?

– Заявление об увольнении ты писать отказался, – пожалала плечами Фелиция. – А ведь я просила.

– Контракт все еще не исполнен.

– Да в чем он хотя бы состоит, этот контракт?! – Фелиция повысила голос, на мгновение потеряв самообладание,

но тут же досадливо прикусила губу – и успокоилась. – Снова не скажешь?

– Сожалею, мисс Монрей. Нет.

Фелиция подавила глупый смешок и взглянула Ремусу в глаза.

– Вот поэтому я и выбрала дирижабль. Не знаю, о чем думал мой недалёковидный предок, но так или иначе расплачиваться за его капризы я не желаю. Моя жизнь – это только моя жизнь, Ремус.

– Что ж, разумно, мисс Монрей... Ах, револьвер – как трогательно. Попробуйте меня застрелить?

Он рассмеялся. А Фелиция уже не сидела в кресле – лежала. Кувшин с оранжадом съехал до края стола, упал и разбился. В недрах лайнера что-то натужно трещало и грохотало, а от запаха соли и йода щипало в горле.

– Не тебя, – хмыкнула она.

И приставила револьвер к своему виску.

В этот момент в стекла рубки упрямо ткнулась вода – и выдавила их с голодным утробным хрустом. Фелиция отвлеклась всего на секунду, а потом вдруг в руке у нее вместо револьвера оказалась жирная черная змея – и вцепилась в запястье.

«Даже уйти по-своему не позволил».

Падая в воду, Фелиция почти ничего не чувствовала.

Много, много позже, в Монрей-меноре, укрывая спящую

Фелицию одеялом, Ремус размышлял о том, что можно будет наутро сказать – и что нельзя.

«Это всего лишь ночной кошмар, мисс Монрей» – вряд ли Фелиция проглотит такую ложь или смирится.

Он отвел с ее лица мокрую прядь волос.

– Хозяев тоже нужно воспитывать, – произнес тихо, и веки у Фелиции дрогнули во сне. – Надеюсь, это сойдет за оправдание?

Она отмахнулась от него, не просыпаясь, и зарылась в одеяла.

– Надо же... навевает воспоминания.

Ремус присел на край постели и поднял взгляд на портрет Раймонда Монрея над камином – основателя рода и, по мнению Фелиции, полного идиота. Вот кто знал толк в дрессировке...

...Выгоревшая до черноты земля, человеческие крики где-то далеко и густой запах дыма – это и есть лицо войны.

– Соглашайся, Ремус. По-моему, неплохая сделка – тебе просто надо будет приглядывать за моим сыном... Некоторое время. И за его сыном тоже. Чего тебе стоит, с твоими-то возможностями?

Он улыбается так, что непонятно, кто кого должен искушать.

– А что я за это получу?

– Ты? Хм... Пожалуй, избавление от скуки. На веки веч-

НБЛ.

Погорельцы

Обыкновенно человек не может с уверенностью сказать, в какой момент его жизнь вывернула на новую дорожку. Декорации меняются незаметно: только что вокруг шумел карнавал, трещали фейерверки, звенели бубенцы... А потом вдруг взрывы потешных ракет превращаются в оружейные залпы, а колокола тревожно переговариваются над переполненным кладбищем. И как, когда это произошло?

А шут его знает.

Впрочем, Анаис Моро вполне могла дать точный ответ: в год, когда ей исполнилось четырнадцать, за четыре дня до Рождества, за полгода до войны, за целое детство от горя.

Был погожий морозный день; лужи покрылись хрупкой леденцовой коркой, земля поседела от изморози, а в западном ветре почти не чувствовалось моря. Бледно-голубое небо разом опустилось ниже и оледенело; его пугающая, зовущая осенняя бездонность обернулась росписью по стеклу, и как-то сразу стало ясно, что вот она, зима, уже здесь, среди людей, бродит неприкаянная, задевая то рукавом, то вздохом. К вечеру краски совсем поблекли, акварель стала дымкой – постепенно густеющей серостью. Анаис не спешила возвращаться домой: на самодельном прилавке из перевёрнутого ящика хватало пока яблок, красных и прозрачно-жёлтых, одним цветом разгоняющих стылый сумрак, и людей на

улицах стало больше – близились праздники.

Тогда-то и он и появился.

Он возвышался над толпой на добрых полголовы, спину держал ровно, шагал широко. Широкое тёмно-серое пальто с капюшоном скорее напоминало старомодный плащ, по голенищам чёрных сапог змеилось серебряное шитьё. Такого даже в весёлой, разномастной рождественской толпе и захочешь – не проглядишь, но отчего-то никто не провожал его глазами, не оборачивался. Мальчишка, который на бегу врезался в него и упал – и тот просто поднялся и, отряхнув от инея и пыли колени, побежал за приятелями дальше.

Шея у Анаис тут же покрылась мурашками, и вовсе не от холода. Захотелось укутаться шарфом до самого носа, уставиться на собственные ботинки – и перетерпеть, пока незнакомец в сером пройдёт мимо. Но отчего-то она не могла ни отвернуться, ни даже моргнуть.

А он бродил по площади, наклоняясь то к одному прилавку, то к другому; где-то пробовал рассыпанное по коробкам вымороженное печенье, где-то – леденец; у торговки шерстью выхватил прямо из-под рук белоснежную пуховую шаль и пропустил через кольцо пальцев, затем одобрительно кивнул и положил обратно. Хайм, языкастый южанин, не глядя налил ему полкружки горячего вина, продолжая болтать с приятелем, и так же машинально отёр возвращённую кружку полотенцем. Когда же незнакомец проходил мимо Анаис, она вдруг ощутила странное тепло – в груди, в горле, нако-

нец внутри головы – и ухватилась за полу серого пальто.

Пальцы точно в пепел погрузились – скользкий, жирный, горячий.

Незнакомец по-циркачески лихо развернулся на каблуке и устоялся на Анаис со всей высоты своего роста:

– Тебе чего?

Наверное, ей бы следовало испугаться. Но слишком весело блестели из-под капюшона глаза, а ещё из кармана торчала палочка от леденца, и мыски щегольских сапог были сбиты и перемазаны в глине, как у шкодливого мальчишки.

– Вот, возьми, – протянула Анаис ему яблоко – большое, красное в полоску. – Не надо воровать, если так дают.

Сказала – и почувствовала себя настоящей ханжой, которая бранит озорника за сорванную тайком вишенку у соседки... а сама хочет почувствовать на языке терпкий вкус.

Незнакомец выглядел позабавленным.

– Что, правда за так отдашь? – присел он на корточки рядом с прилавком. Воротник пальто разошёлся; под ним оказалась шёлковая рубаша, того самого красно-оранжевого оттенка, как пожар в темноте. – Дома тебя потом не накажут, а, госпожа коммерсантка?

– Сама собирала, сама продаю, – фыркнула Анаис. – Хочу – вообще бесплатно раздам, если неохота будет домой тащить.

Незнакомец рассмеялся; капюшон упал за спину, открывая чёрные с проседью волосы – сажа с пеплом, точь-в-точь

как у Хайма-южанина.

– Так ты у нас, оказывается, сама себе хозяйка. А я-то думал, что растрогал сиротку, которую злая мачеха выгнала на улицу в мороз торговать спичками...

– Яблоками, – серьёзно поправила его Анаис. – Вот спички были бы кстати, а то руки мёрзнут.

– Ну так погрейся, – усмехнулся незнакомец и протянул руку.

Анаис помедлила секунду – и обхватила его ладонь своими.

...он весь, до костей пропах дымом. Сладким – летнего сена, дорогого табака, вишнёвой древесины; терпким – полыни, благовоний, осенней листвы; горьким – лакированной мебели, прокрашенной ткани, жжёной шерсти, жутким – горелого мяса, запекшихся волос. Болезненный, томительный жар теперь заполнил тело целиком, до кончиков пальцев. Усилием воли Анаис вынырнула из головокружительного беспамятства – и поняла, что смотрит на незнакомца снизу вверх, прижав его ладонь к своей щеке. Прилавок-ящик, куда она взгромоздилась коленками, треснул и перекосялся; яблоки раскатились.

– Сильно же ты замёрзла, – пробормотал незнакомец растерянно. Глаза у него оказались обыкновенные карие, человечьи, но оттого почему-то ещё более страшные. Благородные черты лица напоминали о рыцарях; но не о слащавых, романских, а о тех, из старинных книг – о бойцах с хищным

профилем, с острыми скулами и с нахмуренными бровями. – Сколько тебе лет?

– Че... четырнадцать.

Она едва заставила себя выпустить его руку и уткнулась взглядом в прилавок. Щека горела, как обожжённая.

– Я загляну через пару лет, – пообещал незнакомец, с нажимом проводя Анаис ладонью по голове. – Волосы только не стриги... я косы люблю.

Он склонился, поцеловал её в горящую щёку и ушёл вниз по улице, подкидывая яблоко и ловя, как мяч. Анаис с полчаса сидела оцепеневшая, а потом подскочила, опрокинув прилавок, – и по-мальчишечьи драпанула домой, перескакивая через заборы.

«Что же я натворила, что натворила...» – стучало в висках.

Первое, что Анаис сделала – это попросила старшего брата подрезать ей волосы. Он всё сомневался, не оставить ли подлиннее, но в конце концов сделал, как просила – обкорнал, как приютского сорванца, даже над ушами прядки выстриг. Белёдые кудри от сквозняка извивались на полу, как змеи. Мать, сокрушённо качая головой, смела их в совок и бросила в печь – чтоб птицы не растащили, не навили гнёзд, и голова не болела.

Но уже тогда Анаис понимала, что прятаться бесполезно: раз протянутая, связь не оборвётся.

Вскоре после Рождества молва разнесла по округе два

странных случая.

В соседнем городе от единственной искры вспыхнул, как спичка, целый квартал – и выгорел за одну ночь. А на той, ближней площади, где шла ярмарка и торговал горячим вином Хайм-южанин, шальная ракета залетела на крышу оружейного склада, пробила её – и взорвалась внутри. Думали, будет пожар, да пронесло.

«Чудо», – шептались люди.

И только Анаис знала, что цена тому чуду – одно красное яблоко.

Летом началась война.

Когда она закипела далеко, у границ, никто не принял её всерьёз, кроме газетчиков и кликуш. В последние годы стычки случались не раз – вспыхивали и затухали, как фейерверк, упавший в сугроб. Но вскоре цены на хлеб поползли вверх, и люди стали перешёптываться, что теперь-то всё взаправду. Анаис не верила до последнего – ни сводкам с фронта, ни пересудам на рынке, пока в начале осени в двери не постучался человек с голодным лицом, одетый по-армейски.

– Господин Моро, полагаю? – произнёс он с ходу, едва отец открыл дверь.

– Верно, – кивнул отец, опираясь локтем на косяк.

Визитёр смерил его внимательным взглядом, особенно задержавшись на сутулых плечах и сухой ноге; прежде никто в городе не смотрел на Моро так: аптекарь – не пахарь, ему не

крепкое тело нужно, а ясная голова, зоркие глаза и чуткие пальцы.

– Господин Моро, я бы хотел поговорить о ваших сыновьях. У вас ведь их трое?

При этих словах мать побледнела и прижала пальцы к губам.

Спустя час визитёр удалился, отметив что-то в бумагах. А на следующий день двое самых старших мальчиков, Танет и Кё, собрав скудные пожитки, покинули дом. Провожать себя они запретили, улыбаясь и зубоскаля – ещё чего, глупые женщины, беду накличете, будто и дел других нет. Но Анаис всё равно проследила за ними, стоя в тени яблони и обнимая младшего брата, последнего.

– Ты ведь нас не бросишь, Дени? – шепнула она.

Тот замотал патлатой головой. От него пахло дымом.

Поначалу братья исправно писали – раз в месяц, а то и чаще.

Но после нового года письма стали приходить реже. Анаис, впрочем, некогда было бояться и грустить – она теперь помогала отцу в аптеке. Если хлеб подорожал, так цены на лекарства вообще взлетели; правда, ингредиенты стало доставать непросто. Поэтому отец зачастую уезжал теперь сам, на неделю-две, как он говорил, «к друзьям», и возвращался с сумкой плотно запечатанных свёртков и пузырьков с притёртыми пробками. Кое-где стояло государственное клеймо, кое-где – незнакомое... Аптека в дни его отлу-

чек оставалась на Анаис, Дени и госпожу Моро.

К следующему лету фронт откатился дальше. Люди стали привыкать – даже к настоящей, взаправдашной войне. Новости всё чаще узнавали не из газет, а из «листочков» – сводок, которые распространяло правительство. Танет Моро попал в госпиталь с контузией и стал писать чаще; Кё в письме упомянул вполслова, что-де его отправляют куда-то переучиваться и запропал.

И Анаис бы тоже притерпелась к войне, как притерпелась к тревоге за братьев и к частым отлучкам отца, если б не заметила однажды, как бабушка Мелош перестала ставить под стол блюдце с угощением – две-три капли молока на чёрствую корку.

– А как же лютин?

– Кто? – задрала седые брови бабка. – Да тьфу ты, во всякую нечисть верить. Не до того сейчас.

Анаис на полшаге запнулась и едва не выронила ступку с перетёртым лекарством.

Как это – «верить»? Как это – «верить», когда ещё полгода назад старая Мелош сама угощала лютина, вкладывая горячий пирожок в маленькую, сморщенную руку? А дети шёпотом предупреждали друг друга, что Тео с мельницы видел у реки водяную лошадь, обернувшуюся красивой женщиной в платье наизнанку, и отец за обедом с тревогой просил Дени быть осторожней, когда тот купается с друзьями...

«И мама теперь не берёт с собой гроздь рябины, если идёт

собирать травы к холмам», – вспомнила Анаис.

Два дня она расспрашивала невзначай – родителей, стариков, покупателей в аптеке, подружек. И почти уверилась, что война всего за год словно выгрызла из памяти здоровый кусок – у каждого, будь то взрослый или ребёнок. И только Хайм-южанин помрачнел и досадливо цокнул языком.

– Ушли они, э. Мне ли не помнить, я раньше у них вино иногда на мёд менял, душистый такой, а теперь откуда его брать? Э-эх, – скосил он глаза на Анаис и попытался приобнять её одной рукой.

Анаис вывернулась, улыбнулась на прощанье, чтоб не обидно было, и перемахнула через забор, припуская к дому коротким путём. В груди растекался дымный жар; сердцу сделалось тесно.

«А он теперь тоже не придёт?»

Родной дом Анаис проскочила насквозь – с парадного крыльца на кухню, а оттуда – через чёрный ход снова на улицу, сжимая горшок с углями. Булькала заткнутая за пояс бутыл с керосином, с каждым шагом-прыжком соскальзывая ниже, ниже; под конец она держалась то ли на широкой пробке, то ли на честном слове, но так или иначе – чудом. На вымерших улицах не было никого; не вились дымки над крышами, не пахло из открытых окон закипающей похлёбкой и румяным хлебом. Под горизонт набились черные тучи, как пчелиный рой давеча – под крышу, и даже будто бы слышалось издали низкое гудение.

Раньше окраины начинались в тысяче шагов от аптеки; теперь, когда война разорила дома одиночек и стариков, когда ушли братья и сыновья, и некому стало чинить перекосившиеся пороги, прогнившие перекрытия, и неподъёмно дорог стал хлеб – окраины подобралась вдвое ближе. На десять брошенных хибар – одна занятая, и в той – не хозяйева, а погорельцы с границ.

Анаис на ходу перескочила ручей, пересекла одичавшее поле – и очутилась у большого дома. Хозяйева его умерли от старости ещё до войны, и никто из наследников, столичных беспокойных ребят, не позарился на пустующее жилище. Крыша разошлась, полы прогнили, а перекошенные ставни торчали наружу, как зубы у циркового уродца.

– Ты никому не нужен, – яростно выдохнула Анаис, поливая порог и двери керосином. – Послужи хотя бы мне. Позови его!

Она подняла горшок над головой – и грохнула его о пропитанное горючим дерево. Толстая глина хрупнула, но звук этот потонул в громовом грохоте; тучи вычернили небо от горизонта до горизонта, жадно склонились над домом... А он радостно выбросил им навстречу языки рыжего пламени.

– Вернись, ты! Ты обещал!

Влажная, предгрозовая духота стискивала грудь; огонь должен был бы так же задохнуться, погаснуть – но он ревел гневно, точно раненое чудовище, древнее, оскорблённое небрежением.

– Вернись! Ненавижу!

Чернота небесная прогнулась, текучая, непостоянная; по смоляным клубам с треском разбегались молнии, но ни дождейки ни упало на зудящие от пепла щёки.

– Вернись, – всхлипнула Анаис, и в колени ткнулась сухая земля. – Вернись, ты... ты мне яблоко должен.

И стало тихо.

Так невозможно, жутко тихо, словно огромная стеклянная колба опустилась сверху, отсекая разом всё – шелест искр, треск деревянных перегородок, звериный рёв пожара, грозовые залпы.

– Кто... ты?

Голос был знаком; но звук его лишился чего-то важного – силы ли, чувства? Анаис обернулась, запрокидывая голову, и взглядом зацепилась за сапоги – чёрные, добротные, с серебряным шитьём по голенищам.

– Вернулся, – хрипло выдохнула она, вцепившись пальцами в штанину – в грубую ткань, вроде той, из которой шьют солдатскую форму.

И рубашка его так же огневела, и знакомое длинное пальто с капюшоном было наброшено на плечи, и седины в волосах не прибавилось ни на нить. Но лицо помертвело; глаза почернели, точно под веками разверзлась бездна.

– Кто ты? – повторил он ровно.

Где-то за пределами купола тишины пылающий дом осел, сложился в самое себя, выдыхая искры и пепел.

– Анаис.

– Анаис... – Он присел на одно колено, прикрывая глаза, и провёл рукой по её волосам – коротким, как у мальчишки. – Скажи, Анаис, кто я?

Когда уходили на войну братья, то сердце потяжелело, а сейчас наоборот сделалось лёгким, точно явилась надежда, точно вошла она через разваленные городские ворота, простоволосая, в окровавленном рубище, онемевшая, но живая.

«Значит, не все из его народа исчезли».

– Ты – пастырь, – сорвалось с языка. – Пастырь дыма и пламени. Кто-то овец посохом погоняет, кто-то коров... А ты – пожары.

Сказала – и потянулась к пергаментно сухой щеке. Прикоснулась губами, обожглась, отпрянула – и вздрогнула.

– Значит, пастырь, – усмехнулся он; взгляд его посветлел, появилась вновь смешинка, пусть и горькая. – Спасибо, Анаис. Выходит, я теперь тебе должен побольше одного яблока.

Обрушенный дом догорал, как бумажный. Тяжёлые балки крошились на угольки, угольки рассыпались пеплом, пепел уходил в землю – чёрную, растресканную от жара. Потом хлынул дождь; пастырь обнял Анаис и укрыл краем своего пальто. Смаргивая дождь, стекающий по лицу, она смотрела, как почва напитывается влагой, как тонкие, бледные нити ростков лезут вверх, сплетаются, выбрасывают листья и цветы. Ещё не развеялись до конца опустошённые тучи, ко-

гда пожарище затянулось тимьяном и клевером, и воздух забродил от пряного, сладкого аромата.

Анаис зачарованно протянула руку и сорвала тонкий стебель с багряными звёздчатыми цветами.

«Настоящий...»

– Что случилось с... со всеми вами?

– Мы ушли, – ответил пастырь отстранённо, точно повторяя чужие слова. – Мы сокрылись и спрятались, и нет нам возврата. Пришла война, и земля напиталась железом, и жжёт оно босые ноги – не танцевать нам на холмах, не пить вина из лунного света и осенней печали... Кто-то остался, впрочем – из гордости ли, из глупости, по незнанию? А вот я и не думал бежать, – продолжил он уже обычным голосом, и его пальцы сжались на плече Анаис. – Я издавна связан с людьми, мне нравится бывать среди них – больше, чем рядом с моим народом. Но если б знать заранее, чем это обернётся... – он запнулся и умолк.

– Чем?

На сей раз пастырь молчал долго, пока небо не сделалось совсем ясным, а веки Анаис почти смежил сон.

– Слишком много силы, – наконец произнёс пастырь. – Прежде я был почти как банши. Следовал за пожарами, как она – за смертью, когда мог – предупреждал, иногда отводил беду из прихоти, иногда – накликал. Но когда от края до края мира запело железо, я словно опьянел. Сейчас огонь везде, и он рвёт меня на части. Горят города, горят поля с несжа-

той рожью. Древние леса в огне и новые машины; покинутые кладбища, сердца человеческие – всё пылает. И такое чувство, будто я годы не смыкал глаз, скитаясь от пожарища к пожарищу, а единственные мои спутники – погорельцы и мертвецы. Ты позвала, и я очнулся. Но вот надолго ли?

Анаис прикрыла глаза, откинув голову ему на плечо.

«Значит, не только люди потеряли многое на этой войне».

Ей стало горько – радуга не может упасть на землю, чудом нельзя торговать на грязном городском базаре, мир не должен лишаться красоты – даже если он готов вот-вот рухнуть под тяжестью дурного, жадного до крови железа... *Особенно* если он готов рухнуть.

– А теперь ты уйдёшь?

– Да кто же меня возьмёт, – усмехнулся пастырь. – Наверно, если б я попросил белую госпожу, то она взяла бы меня под Холмы, хотя я не поверил её пророчеству о войне и посмеялся... Самоуверен был слишком, что уж говорить. А если б белая госпожа и затаила обиду, то Тис-защитник заступился бы за меня, а его слово нерушимо. Но разве они теперь услышат? Больше нет Холмов, некуда возвращаться.

Анаис развернулась, чтоб видеть его лицо:

– Тогда я больше не позволю тебе забытья. Если у тебя нет дома... – она сглотнула, чувствуя, как горят щёки, но откуда-то из глубины её существа поднималась странная нежность – та, что пришла на смену страху перед непостижимым и прекрасным. – Если у тебя нет дома, то я им стану.

Пастырь смотрел на неё, и в его глазах горели все пожары войны.

– Станешь домом огня?

– Ты так говоришь, будто огонь – это плохо, – улыбнулась Анаис. – Он греет, знаешь ли. А фейерверки какие красивые!

– Огонь бывает голодным.

– А пепелище лучше чумного города.

– А если город не чумной?

– Отстроиться можно, было б кому.

– А если... – начал пастырь, но Анаис вскочила, скрестила руки на груди и уставилась на него хмуро, как на братьев, когда они безобразничали. – Эй, эй, не сердись, что я, дурак – с такой грозной госпожой спорить. Как там твои яблоки, не созрели ещё? – спросил он вдруг, и прозвучало это так лукаво и двусмысленно, что Анаис вспыхнула.

– Нет! – вздёрнула она подбородок. – И вообще, я теперь на рынке не торгую. Я аптекарь, ясно?

Это было, конечно, почти враньё – Анаис пока только отцу помогала, не более. Пастырь рассмеялся и, поднявшись, поцеловал её в губы.

– Я запомню твои слова. Все до единого, – прошептал он, обдавая её сухим жаром и запахом дыма.

Анаис зажмурилась, а когда отважилась открыть глаза – его рядом не было. Но губы щипало и пекло, точно к ним приложили уголёк... Впрочем, ожог так и не появился.

А огонь в очаге стал ласкаться к пальцам, как домашний кот – согревая, но не опалая.

Если б Анаис знала, как скоро и страшно её маленькая ложь обернётся правдой, то промолчала бы.

Осень только краем рукава задела город, приглушая одни цвета и разжигая другие, когда в город приехал человек в мундире – высокий, с плоской гадючьей челюстью и бесцветными внимательными глазами. В первый день он наведлся в аптеку и купил микстуру от кашля и капли от бессонницы. На второй – попросил составить лекарство по рецепту. Тем же вечером отец подозвал Анаис и спросил:

– Ты знаешь, к кому я еду за ингредиентами? – Она покачала головой. – К Огюсту Ландри. Если произойдёт что-то непредвиденное, найди способ связаться с ним так, чтоб никто не узнал. И... – отец вдруг резко умолк.

– И что?

– Забудь, Анаис. И о Ландри тоже забудь.

А на завтра человек в мундире вернулся – и не один.

Анаис отлучилась на два часа – занести мазь старику-учителю, а когда вернулась, то ещё с того конца улицы почувствовала неладное. Издали доносились отрывистые голоса; плакала женщина.

– Пусти, пусти, изверг! У тебя что же, сердце каменное? «Мама?»

Распахнув аптекарскую сумку так, чтоб легко было до-

стать нож, Анаис ускорила шаг... и застыла, едва завернув за угол.

Напротив садовой калитки стоял тот, в мундире. Ещё двое удерживали отца под локти, а один стоял поодаль, покачивая ружьём на плече. Той плачущей, причитающей женщиной оказалась мать, только родной голос пугающе изменился; Хайм-южанин обнимал её поперёк живота, не позволяя кинуться к мужу, и одновременно уговаривал успокоиться. Ни Дени, ни старухи Мелош видно не было.

Анаис понадобилось всего десять вздохов, чтобы понять: случилось то самое, чего боялся отец.

– К маме у вас вопросов нет? – просила она сухо, подойдя ближе. Руки дрожали.

– Нет, – ответил человек в мундире, посмотрев сквозь неё. – Только к господину Моро.

– Хорошо, – кивнула Анаис, хотя всё было очень, очень плохо. И – обернулась к Хайму: – Проводи, пожалуйста, маму домой. Ей нездоровится.

И, верно, было что-то такое в глазах Анаис, что мать умолкла – и позволила увести себя прочь. Отец исподлобья поглядел на человека в мундире:

– Дела я один вёл. Никто не знает.

– Ну что же вы беспокоитесь, господин Моро, мы же не звери, – так же бесцветно ответил тот и кивнул Анаис: – Доброго дня.

Анаис, не двигаясь с места, смотрела, как отца волокут к

повозке; он едва мог опираться на больную ногу, и потому не поспевал за конвоирами. В гортань и грудь – всё словно заполнил колючий огонь; хотелось закричать, попрощаться, потребовать ответа...

Но нельзя.

Дома оставалась мать, Дени, бабушка Мелош. Отец не простит, если на них падёт хоть малейшее подозрение. Человек в мундире, и правда был по-своему чудовищно добр; говорят, когда лавочника из деревни за лесом поймали на торговле с теми, из-за линии фронта, вместе с ним забрали и жену, и старшую дочь. Обратного не вернулся никто – из-за двух ящиков вина, рулона ткани и горстки патронов для охотничьего ружья.

А тут – лекарства...

Анаис не могла сказать с уверенностью, не померещилось ли ей это, но в самую последнюю секунду, когда перед узким лицом отца ещё не опустилась холщовая ткань полога, он улыбнулся и произнёс одними губами:

«Спасибо».

С подгибающимися коленями Анаис вошла в дом, закрыла дверь изнутри на щеколду. Дени сидел на самом верху лестницы, втиснув голову между деревянными столбиками перил. Мать беззвучно рыдала Хайму в плечо; бабушка Мелош, постарев ещё вдвое, тяжело опиралась на прилавок.

– Много они забрали?

– То, что в доме лежало, – пожевала губу Мелош. – До

погреба в саду не добрались. Видать, не знали.

– Хорошо, – кивнула Анаис снова, хотя – куда уж хуже? – Значит, видели не всё. Хайм, скажи, ты по округе торговать часто отъезжаешь?

– Да частенько, э. А что?

– Знаешь Ландри?

– С мельницы? Огюста или старика?

– Огюста. – Анаис глубоко вдохнула, прежде чем продолжить. – Будешь у него – расскажи, что тут видел.

– Да чтоб я – и смолчал, э? – ухмыльнулся Хайм, но тут же прикусил губу; потом хлопнул себя по колену, поднимаясь, точно собрался уходить, но почему-то засиделся до глубокой ночи.

Через два дня стало ясно, что отец не вернётся. На третий, ни слова никому не сказав, сбежала мать.

Анаис больше никогда не видела ни его, ни её.

Братьям она об этом так и не написала.

Аптека протянула до весны – и только потому, что другой-то в округе и не было. Поначалу многие заходили поинтересоваться, куда пропали супруги Моро, но траурные чёрные юбки старухи Мелош отбивали желание задавать глупые вопросы. Раз в два месяца Хайм навещал мельницу Ландри и обменивал всё дешевеющие банкноты на свёртки и склянки, но однажды он возвратился с пустыми руками.

– Не вернулся парень, жена плачет, э, – вздохнул южанин,

протянув руки к огню; дрова приходилось экономить, дом быстро выстывал, кроме разве что кухни. – Да ещё какой-то мордач брыластый рядом кружит, вынюхивает. На меня коsovато смотрел, ну, я на те деньги муки прикупил. Вроде отвязался. Если тебе не надо, я выкуплю, – добавил он виновато.

Анаис механически отвела прядь с лица. Волосы опять отросли, их бы обкорнать давно, да всё времени не находилось... И к тому же чудился иногда за околицей в сизых зимних сумерках, пропитанных дымом, силуэт высокого мужчины в багряных сполохах, как в шелках.

«Мне косы нравятся, – щекотал ухо призрачный шёпот. И долетало эхом: – Я запомню твои слова, все до единого...»

– Сколько муки-то, Хайм?

– Да два мешка будет...

– Попролам давай.

Через неделю Анаис достала запасы лекарств и перебрала. Кое-какие мази и настойки на травах можно было делать и своими силами, особенно летом, но вот что-то посложнее... Весь день она промаялась с головной болью, сто раз обозвала себя предательницей, мысленно извинилась перед отцом, а за ужином твёрдо сказала, что аптека закрывается. Не через полгода, не через месяц, а прямо сейчас.

– Давно пора, – хмыкнула бабка Мелош и шумно отхлебнула супа через край миски. С осени скулы у Мелош заострились, а глаза потемнели и запали, но сил наоборот буд-

то бы прибавилось – и жалости не осталось вовсе, даже для своих. – У моего мальчика руки золотые были, мы супротив него – тьфу, школяры. Что теперь делать думаешь?

– Пойду работать в госпиталь, – без запинки ответила Анаис. – На это моих рук точно хватит. С голоду не умрём.

Мелош хрипло рассмеялась, откинув голову:

– Как хозяйка заговорила? Всё на себя брать – ещё чего удумала. Ты погоди, бабка старая тоже на кой-что сгодится. Ко мне по молодости аж из столицы приезжали платья подвенечные шить.

– Да кому они теперь нужны? – улыбнулась Анапе, чувствуя разгорающийся огонёк в груди.

«Всё же семья. Пусть и меньше, но пока ещё...»

– Ну, кому я прежде подвенечное шила, теперь траур будет нужен. Мужья-то с сыновьями... – Мелош снова расхохоталась, но смех перешёл в надсадный кашель. – И что ты на меня вылупилась? Неправда, что ли?

– Я тогда тоже работать пойду! – вскинулся вдруг Дени.

Анаис от неожиданности вздрогнула – с тех пор, как исчезли родители, сказанные им слова можно было пересчитать по пальцам двух рук.

Трёх, в крайнем случае.

– Да кому ты такой мелкий нужен? – усмехнулась бабка Мелош.

Дени показал язык и скорчил рожу. А назавтра уже сообщил с гордостью, что нанялся в пекарню. Анаис подозрева-

да, что его взяли лишь потому, что хозяин, господин Мартен, много-много лет покупал у их отца мазь от ревматизма, но прикусила язык. Её саму взяли в больницу без вопросов из-за фамилии Моро, по доброй памяти.

Закрытая аптека, разрушенное семейное дело, долго ещё напоминала о себе укорами совести и мучительными снами, в которых суховатые мужские руки осторожно раскладывали ингредиенты по чашечкам золотистых весов. Но когда распустились листья на деревьях, и почти одновременно пришли письма от Танета и Кё – первые почти что за полгода! – Анаис решила, что это судьба недвусмысленно намекает: правильное было решение, нечего сомневаться.

– Мы будем жить, – мурлыкала она себе под нос, отдраивая больничные полы почти бесчувственными от холодной воды руками. Поверхность мутной воды в ведре отражала уже не девочку – молодую женщину. – Так или иначе, будем жить.

Волосы отросли за зиму; мягкие белёсые локоны теперь щекотали кончиками плечи.

Два года протянулось благословенное затишье. О перемирье и речи не шло, но линия фронта откатилась так далеко, что в войну почти перестали верить, как раньше – в фейри. Стали возвращаться домой те, кого забирали первыми. Кто в новеньком мундире и при медалях, кто в драной, дрянной одежде и с вечным ужасом в глазах; кто сам, кто на костыле,

кто без глаза... С одинаковой радостью встречали всех.

Кё написал, что ему предложили переучиться на лётчика, да так и пропал надолго – видно, переехал далеко, откуда письма не доходили. А потом, с опозданием почти на шесть месяцев, допетляла по просёлочным дорогам восточка от Танета. Двадцать строк на мятом обрывке бумаги Анаис перечитывала снова и снова, чувствуя, как к горлу подступает ком.

– Чего глаза-то на мокром месте? – подозрительно сощурилась бабка Мелош, отрываясь от штопки. Свечи давно уже приходилось экономить, и потому само собой получилось так, что к вечеру вся семья собиралась на кухне. – Помер, что ли? Не похоже, раз пишет-то.

– Прикуси язык, – не по-настоящему рассердилась Анаис и подмигнула застывшему Дени. – У него контузия была, он так и оглох. Его навсегда в запас списали.

– Было б с чего рыдать, – хмыкнула Мелош. – Когда возвращается-то?

– Да никогда, – в тон ей ответила Анаис. – Он... В общем, Танет встретил хорошую женщину. Точнее, его к ней определили, поправляться. А они поженились. Ребёнок осенью будет. Точнее, наверное, уже родился. Слышишь, Дени? Ты теперь – дядя! Как думаешь, у тебя племянница или племянник?

Мелош уронила иглу и часто заморгала, бормоча что-то себе под нос. Анаис различила только: «не зря пожила» и

«дождалась». Последнее «...теперь не жалко» она предпочла не услышать.

Праздновать увеличение семейства Моро было особенно и нечем: крепкие красные яблоки, немного сыра и хлеб с толстой, хрустящей коркой, дневной заработок Дени. Аккурат посередине ужина заглянул Хайм – не иначе, хорошие новости почуял – и добавил полбутылки вина. Анаис досидела в душевной кухне до полуночи, а потом выскочила в сад, даже шаль на плечи не накинув; в правой руке – стакан с вином, почти нетронутый, в левой – кусок хлеба. Покружила по саду, забрела в дальний угол и привалилась спиной к стволу старой яблони.

– Пастырь, пастырь, – прошептала Анаис. Хайма, который смотрел на неё весь вечер, было ужасно жалко. И не прогонишь его ведь, не скажешь, что сердце давно отдано пожарам – не поверит, не поймёт. – Приходи, а? Без своих стад, без огней и дымов. Я тебя вином угощу.

Из зябкой осенней ночи налетел ветер, встрепал волосы – и следом, через мучительно долгую минуту, затылок накрыла тёплая ладонь.

– Вино, говоришь, маленькая госпожа торговка? – усмехнулся пастырь, усаживая Анаис к себе на колени, укрывая полую пальто. – Вылей ты эту кислятину. У меня кое-что получше есть.

– И что, поделишься? – недоверчиво откликнулась она. А глупое сердце в груди ликовало: услышал, пришёл! Чего

больше-то надо, дурочка?

– С кем, если не с тобой, – ответил пастырь серьёзно.

И – забрал у неё злополучный стакан, опрокинул прямо в жухлую траву.

Анаис стало так легко, как давно уже не было; она знала, что скажет Хайму, не знала только, простит ли он её. Хлеб пришлось разломить надвое – заедать сладкие, невозможно пьяные ягоды. Пастырь и принёс-то их всего одну горсть, а они не кончались и не кончались.

– Слушай... Тебе до столицы далеко? – спросила Анаис сонно, пригревшись под пальто, так похожим на сыпучий, жирный пепел.

– Шаг туда, шаг обратно, – дыхание раздвинуло волосы у неё на затылке.

– Моего брата зовут Танет Моро. Он на меня похож, только высоченный. Женился недавно. Написал тут про ребёнка... Мне б только узнать, родился или нет, здоров ли...

– Спи, – коснулись лба горячие губы. – Всё о других беспокоись. Про себя подумай.

Анаис в полудрёме ткнула его кулаком в бок – и провалилась в забытьё, безмятежное, как в детстве, когда волшебство было взаправду. Под утро ей пригрезилось: «Девочка, назвали Мелош».

Сон оказался пророческим.

После объяснения Хайм перестал приходить. Сначала –

совсем, потом начал изредка заглядывать, но только днём, когда Анаис была в госпитале.

– Зовёт меня: «Эй, мать, здорова?». Ну какая я ему мать? – ворчала Мелош, и погнутая игла ныряла в рыхлую чёрную ткань. – Жалко парня.

– А мне сестру жалко, – фыркнул Дени. И – раз! – опускал взгляд, скрывая потаённые мысли, точь-в-точь, как отец, когда его мать бранила по мелочи.

Иногда Анаис казалось, что брат хотел что-то сказать, но не решался; иногда она была уверена, что он знал наверняка – про пастыря, про яблоко, про пьяные ягоды, про случайные встречи за околицей. Видел, как сестра голой рукой подхватывает с пола выстреливший уголёк – и кидает обратно в печку. И – очень редко – она думала, что сумеет рассказать правду.

А потом стало не до того.

Война оказалась похожа на океан. За отливом следовал прилив, и чем дальше откатывались волны железные, горючие, тем яростней захлёстывали потом спокойные земли. Первым знаком стали погорельцы – снова потянулись через город вереницы усталых, голодных, выжженных ужасом людей. Больше, чем во все прежние годы; мест в больнице не было, солдаты заняли все койки. Ночью край неба полыхал, но не зарницами.

– Идите на север, – бросил как-то пастырь; он сидел на пороге, подбрасывая яблоко на ладони, и на Анаис не смотрел.

Закат горел ореолом вокруг его головы, но не ярче багряных бликов в зрачках. – Здесь совсем скверно будет. А туда ещё нескоро беда доберётся, на человеческий век хватит.

– Да как же мы, – растерялась Анаис. – Бабка Мелош ходит плохо, она не дойдёт. Не бросать же её...

– Как знаешь, – сухо ответил пастырь, положил яблоко на тёплое, нагретое за день дерево – и шагнул с порога прямо в кипящее, дымное, пламенное. Анаис моргнула, и жуткое видение исчезло.

Страх остался.

Первую бомбу она почуяла ещё до её появления – всей кожей, шестым чувством, зудом в костях. Нечто расчертило небо, раскроило надвое, выпуская из-за звёздного полотнища неба огненную тьму...

Не сейчас. Пока ещё нет.

– Нет! – Анаис рывком села, скидывая одеяло. Брат на полу зашевелился, протирая глаза. – Нет, нет, нет, только не к нам, пожалуйста, нет!

Выскочила на улицу – сапоги в руках, рубашка Танета падает с плеча, под ногами – ломкая от мороза трава. В спину неслось хриплое спросонья: «Эй, ты куда?», и обернуться бы, объяснить, но дорога сама бросалась под ноги, несла, как волна – доску от разбившегося корабля.

– Нет! – выдохнула Анаис, вскидывая руки к небу словно пытаясь заслонить узкими мозолистыми ладонями весь го-

род. Дурацкие сапоги шлёпнулись о камень. – Не сегодня!

Закрыла луну трескучая машина, крылья – как ножи, в ореоле железистого дымного смрада. Металл, начинённый смертью, перевалился через край, полетел вниз...

Анаис не двинулась с места.

– Пожалуйста, не сегодня! – яростно крикнула она в сторону, зная, что тот, кто всегда рядом, обязательно услышит.

И правда, услышал.

Бомба вонзилась в брусчатку, оставив котлован; осколки брызнули в стороны, но и только – ни взрыва, ни огня. Вторая камнем упала на крышу больницы, пробивая перекрытия; третья – на ратушу. Затем машинный треск затих вдали, и чудовищная тень сокрылась меж других теней в ночи.

Пастырь обнял Анаис со спины, склонился, прижимаясь щекой к щеке.

– Уговор, маленькая моя госпожа, седая госпожа. В другой раз ты позовёшь меня со всеми моими стадами.

– Я не седая, – прошептала Анаис; губы онемели, обожжённые морозным воздухом; глаза были сухими; растрепавшаяся коса змеёй спускалась на грудь.

– Ты будешь, – произнёс пастырь горько и нежно, точно хотел бы откупиться от собственных слов, от знания – но не мог. – И тогда я приду за тобой. Только позови.

И – отстранился. Она почувствовала движение, обернулась, пытаясь удержать, но поймала только дым – невесомый, почти прозрачный, словно от тонкой щепки ароматного де-

рева. Запах запутался в волосах – шёлковый платок для призрака, бесполезный дар.

«Я не должна была просить... А могла ли промолчать?»

Анаис кое-как влезла в сапоги и вернулась домой ни жива ни мертва. Думала, что теперь не заснёт никогда, но провалилась в сон почти сразу.

И поначалу будто бы ничего не изменилось. Линия фронта пронзила город, как спица – зрелое яблоко, но никто не заметил. Взрывы, что звучали к северу, сместились вдруг южнее, а раненых в госпитале стало меньше. Исчезли мундиры, которые нет-нет, да и мелькали на улицах... Но всё так же работала пекарня Мартена, и говорливый южанин Хайм успевал бывать в десяти местах одновременно, одному сбывая бутылку вина, другому – старые сапоги, а третьему – яркие липкие леденцы.

А потом пришли чужие войска.

Вроде и различий со своими было немного: форма побледнее, потемнее, язык похож; и люди такие же – кто злой, кто усталый, кто весёлый без меры. Эти, как и свои, не спрашивали разрешения, подсекаясь в хорошие дома, и одни гости еду требовали, а другие – делились. Тех раненых, кого свои не успели вывезти, чужие не трогали; простых людей никто не запугивал.

– Мы с мирными не воюем, нет, – сказал высокий белоглазый офицер, похлопывая по плечу старика-врача.

– Почти как наши, – вторила ему худая и краснощёкая ме-

дицинская сестра, поглядывая вниз, на каменный двор, где разместился громоздкий автомобиль, из которого выгружали тяжелораненого. – Слушай, а с чего началось-то? Кто кого обидел? Мы их – или они нас?

И только старуха Мелош одним словом смогла выразить то, что довлело над городом:

– Душно.

«И хрупко», – добавила про себя Анаис. Она и впрямь чувствовала, что воздуха не хватает – и одновременно боялась подспудно сделать неловкое движение, словно очутилась в наглухо запертой лавке с тысячью стеклянных статуэток. Повернёшься неаккуратно, заденешь рукавом – и брызнут осколки в стороны. И каждая такая фигурка – чья-то жизнь.

Страх, почти неощутимый поначалу, стал копиться по низинам и подвалам, как ядовитый болотный газ. И, прежде чем самые чуткие успели это понять, весь город оказался отравлен.

Утро выдалось не по-осеннему морозным; к полудню полетели по ветру крупные снежинки-пушинки, заволакивая обочины. Анаис, улучив минуту, выбралась в больничную кухню – погреть руки о чашку с похлёбкой, когда во внутреннем дворе, гулком, как колодец, разгорелась перебранка. Один голос, мужской, сбивчиво умолял, другой, старческий и нервный, требовал немедля обратиться прочь.

Захрясшая рама поддалась не сразу – куда там слабым девичьим рукам. Да и потом через щель разглядеть можно было только небольшой кусок двора: облетевшую рябину, стену второго корпуса... и яркую-яркую цирковую повозку.

– Вы понимаете, она умирает!

– Вот и пусть умирает в другом месте! Здесь военный госпиталь, военный!

Залпом допив остывшую похлебку, Анаис захлопнула окно и выскочила в коридор.

– Эй, Моро, а кружку помыть? – вяло окрикнула её медицинская сестра.

– Потом!

С главным врачом она столкнулась в коридоре, у выхода. Успела спросить коротко, что случилось, и получила в ответ брезгливое: «Бродяги какие-то... Коек нет, что их, к солдатам подкладывать?».

В груди точно пылающая головня заворочалась.

Глаза у врача, у хорошего, честного человека, были перепуганные.

Стиснув зубы, Анаис сбежала по крыльцу, завернула за угол – и едва успела догнать пёструю цирковую повозку до того, как та выехала на большую дорогу.

– Стойте! – закричала. – Я врач, я... аптекарь. Что случилось?

Повозка медленно остановилась. Через край перевесился худощавый мужчина средних лет с навощёнными щеголь-

скими усиками. В петлице потёртого смокинга вместо цветка торчал монокль.

– Вы правда поможете?

– Не знаю, – честно призналась Анаис, запрыгивая на подножку. – Что случилось?

– Жена... В бреду, жар... – забормотал мужчина; он смотрел только на собственные руки, точно боялся поверить. – Сын умер, теперь она... Все наши в поле остались, я думал, что тут сумею...

Отбросив полог, Анаис пробралась в повозку. Внутри, у стенки, действительно лежала женщина, бледная, с запавшими щеками. Одеяло её повлажнело; кислый запах болезни щекотал горло. Ни пятен на коже, ни гнойников не было, но горло отекло.

– Давно она так?

– Третий день...

Хлопнуло окно в больнице – высоко, на третьем этаже. Анаис прикусила кончик языка.

«Почему врач их не пустил? Побоялся эпидемии? Не похоже».

– Мне надо сейчас вернуться на работу, – наконец сказала она. – А вы езжайте вниз по этой улице до хибары с проваленной крышей, оттуда налево. Упрётесь в сад, где яблоны, там в глубине большой дом, с флюгером-змейкой. Там будет старая женщина, её зовут Мелош. Скажите, что это я вас прислала, она поможет... Скажите, что вы от Анаис. А

я приду к вечеру. И не бойтесь, – улыбнулась. – У нас есть лекарства.

– Спасибо, – ответил мужчина так тихо и проникновенно, что сердце у неё ткнулось в рёбра. – Я Франк, Франк Макди.

– Потом познакомимся, – махнула рукой Анаис, спрыгивая с повозки. И остановилась на секунду, прежде чем бежать обратно в больницу: – Только никому не говорите, что я обещала вам лекарства.

Три дня пролетели как один – ни покоя, ни сна. С утра и до вечера – перевязки, промывание ран, обработка ожогов, холодные коридоры и руки, почти бесчувственные от едких средств и ледяной воды. С вечера до утра – бдение в изголовье, отцовские золотые весы для лекарств, тёплое питьё, выстуженные мокрые полотенца. Даже старые лекарства, сделанные по проверенным семейным рецептам, работали лучше тех, что были в госпитале, но не так уж много их осталось.

«Ты ушёл, – думала Анаис, – но то, что ты сотворил, до сих пор спасает жизни».

На четвёртый день госпожа Макди наконец пришла в себя и немного поела. Франк уснул прямо у её постели – не иначе, от облегчения. Бабка Мелош обещала присмотреть за ними обоими.

– Ничего, – проворчала она, запирая дверь. – Если уж в разум вошла и голодная, как волк – значит, на поправку идёт. Видали мы таких. Ну, раз беда миновала, теперь и мы отдохнём.

– Отпрошусь и вернусь сегодня пораньше, – улыбнулась Анаис, но обещания не сдержала.

Она лишилась чувств прямо на пороге больницы.

– У вас гости, верно, госпожа Моро? – пожевал губу главный врач. Он не поленился спуститься вниз, и теперь нависал над кушеткой воплощением укоризны. – Утомительные, наверное?

– Зато у меня совесть чистая, – вскинула подбородок Анаис. Точнее, попыталась – сознание вновь поплыло в самый неудобный момент.

Врач ругнулся под нос, подхватывая её и аккуратно укладывая вновь на кушетку; у него были хоть и старческие руки, но по-прежнему сильные.

– Вы сейчас поспите час, госпожа Моро, а потом вернётесь домой. И чтобы я вас потом два дня здесь не видел, ясно? – слегка повысил он голос, а потом добавил совсем тихо: – Я не только за себя отвечаю, глупая вы женщина. Легко быть милосердным, когда ты один как перст. И попробуй-ка, когда под твоей рукой пятьдесят человек ходят...

Анаис хотела сказать, что у неё тоже есть те, за кого она отвечает, но осеклась. Господин главный врач избегал смотреть в глаза, и веки у него подрагивали. Сложно не узнать страх, когда он рядом... но что, если это страх не за себя?

– Простите, – выдохнула она, откидываясь на кушетку и смыкая ресницы. – Но я не могу по-другому.

– Отдыхайте, госпожа Моро, – устало ответил старик врач.

И, совсем тихо добавил, как если бы это послышалось: – Хорошо, что вы не можете.

Анаис хотела только немного подремать, но очнулась только поздним вечером, когда стемнело. Город был тих; не верилось ни в войну, ни в горе. И, как в другой жизни – семь ли, десять лет назад? – леденцово блестел на лужах тонкий ледок, земля от инея казалась седой. Небо опустилось ниже и побледнело, и даже в сумерках не казалось больше бездонным – не пропасть, а стеклянная крышка.

– Только фейерверков не хватает, – пробормотала Анаис, погуще наматывая шаль на шею. Крупные пушистые снежинки летели словно из ниоткуда – вразнобой, по одиночке. Ветер, морозный и сладкий, пробирался под одежду, понукая идти быстрее. – И ярмарки. Как же я соскучилась...

Шаги за спиной она услышала, когда подходила к дому – оставалось только за поворот шмыгнуть и по улице пройти. И, как прежде – ещё не сброшенную бомбу, почувствовала нутром порох и дурную злость.

– Эй, ты! Ты, беленькая, поди сюда!

В первое мгновение Анаис больше всего испугалась не чужого пьяного солдата, а того, что она позовёт на помощь – и что откликнется не человек, а пожар. Грудную клетку изнутри обожгло, снежинки на плечах свернулись каплями.

– Эй, беленькая, отдай платок!

Грубые пальцы рванули шерстяное кружево – старое, ещё материно, памятное, тёплое, дорогое. Воздух застрял в гор-

ле. Как, когда чужак успел догнать? Почему ноги не двигались?

«Почему он заметил меня?»

Анаис считала себя сильной, но от тощего, озлобленного человека даже заслониться толком не смогла. И, кажется, в какой-то момент закричала – то ли когда воротник затрещал, то ли когда нога подвернулась. Молотила кулаками наугад, заехала в челюсть лбом – и схлопотала оплеуху. А потом чужак вдруг обмяк – и кулём повалился на землю.

– Ты в порядке?

Она вздрогнула, не сразу узнав голос брата, потом кивнула дёрганно и кое-как поднялась на ноги.

– Да, он только ворот порвал... – начала было и вдруг осеклась.

Дени был без куртки, в одной рубашке – видимо, выскочил на улицу второпях. А в правой руке он сжимал топорик для щепок, маленький, но тяжёлый. Кровь капала на землю, дымная, тёмная, оставляя лунки в серебристой изморози; всё явственней ощущался тяжёлый металлический запах. А на плечах у мёртвого чужака виднелись знаки отличия – незнакомые, но у простых солдат таких не водилось.

Вот тут-то Анаис испугалась по-настоящему.

Где-то хлопнули ставни – не в её доме.

– Кто-то видел, – произнесла она, леденя.

Дени пожал плечами и отёр топорик об одежду умершего: – Да двое смотрели. Непонятно, почему только смотрели,

а не вышли на помощь... Эй, Анаис, ты чего?

– Ничего. Слушай, его, наверно, убрать надо...

– А толку? – очень по-взрослому вздохнул Дени – маленький для своих четырнадцати лет, щуплый, но так похожий на отца. – Знаешь, ты иди домой, а я тут разберусь. Не хватало тебя вмешивать. Иди, иди, я скоро тоже подойду, обещаю. Ну?

И Анаис впервые безропотно послушалась младшего брата.

Дени вернулся спустя час. К тому времени о беде знала не только бабка Мелош, но и циркачи. Подвергать их опасности, оставляя в доме убийцы, было совестно, а выставить, ни слова не сказав – невозможно.

– Когда узнают – расстреляют, – невесело подытожил Франк, одной рукой обнимая жену, бледную и сосредоточенную, и дёрнул себя за ус. – Или повесят. Уж на это я нагляделся. Говоришь, вас видели?

– Соседи, – буркнул Дени и отхлебнул травяного чая. Зубы звякнули о край кружки. – Свои. Может, промолчат.

– Не промолчат, – качнул головой Франк. – Люди... Они, когда боятся, совсем другие. А сейчас все боятся.

– Так свои же...

– Да прав он. Бежать надо, – бросила старуха Мелош, как выругалась. Между бровями у неё залегло столько тревожных морщин, словно там почти всё лицо собралось. – Не навсегда. Как они уйдут, так и вернёшься.

– Не навсегда! – присвистнул Дени. – Война же. Может, своих догнать, в армию записаться?

– Да кто тебя такого дурня маленького возьмёт?

– Что, как вешать – взрослый, а как воевать – маленький?

– Хоть бы и так!

Анаис следила за их перепалкой, точно с другого берега реки. На каждом вдохе под рёбрами словно костёр разгорался, сильнее и сильнее.

«Если я только позову...»

– Госпожа аптекарь?

Она вздрогнула: интонации Франка были точь-в-точь как у пастыря тогда, на ярмарке – плутовские.

– Чего?

– Денег расплатиться за лечение у меня кот наплакал, скажу прямо, – произнёс циркач, и Дени с Мелош сразу прекратили переругиваться. – Но есть кое-что получше, – он переглянулся с женой, и та кивнула. – Дорожные бумаги на сына. Ему было тринадцать, и он в меня пошёл, тёмненький. Но у нас краска есть.

Брат помолчал всего несколько секунд, а затем посмотрел циркачу прямо в глаза:

– Как звали вашего сына?

– Франк Макди, – ответил тот быстро, и голос его дрогнул. – ... Второй.

– Привыкну, – коротко кивнул Дени.

Собирались заполошно. Госпожа Макди едва могла хо-

дить, и потому первой перебралась в повозку. Лишнюю одежду решили не брать, чтобы не наводить на след, если армейские всё же догонят циркачей и станут обыскивать. Анаис позволила себе единственную слабость – отдала Франку два последних письма от Танета.

– Там адрес на обороте, – шепнула она, благодарно обнимая циркача на прощание. – Брат вам поможет, вы только доберитесь к нему. И... мне говорили, что на севере безопасно. На человеческий век хватит.

– Значит, поедем на север, – улыбнулся Франк Макди. – Спасибо. Мы с женой вас никогда не забудем. Надеюсь, после войны свидимся.

– Дени берегите, – только и смогла сказать она.

– Как родного сына.

Цирковая повозка покатила под гору, и вскоре скрип колёс затих вдали. А с неба посыпался снег, всё гуще, сильнее, и к утру город выбелило от канав до шпилей. За Дени и правда пришли – через четыре дня, вечером. Анаис безропотно позволила обыскать дом, промолчала, когда какой-то бородач нагрубил старухе Мелош, даже на все вопросы ответила честно. Но когда высокий белоглазый командир начал совестить её и уговаривать выдать убийцу офицера, она не выдержала – встала резко, выпрямила спину до боли.

– Только попробуйте, – прошипела Анаис, сама не узнавая свой голос. – Только попробуйте сказать, что мой брат поступил неправильно. Только попробуйте сказать, что это

я сама виновата. Ну?

Ей на плечи опустилась страшная тяжесть, точно легли на них две раскалённые каменные ладони. Белоглазый командир недоверчиво моргнул раз, другой – и вдруг начал хватать ртом воздух, как рыба. Так продолжалось с минуту, а потом командир развернулся резко и, пошатываясь, вышел из дома, жестом созывая своих. Потом говорили, что за неделю он поседел, как старик, но проверить это было нельзя: на людях белоглазый больше не показывался.

С соседями Анаис отныне не заговаривала. И хотела – но не могла, язык делался непослушным, и губы немели. Даже когда линия фронта откатилась обратно, и чужаки оставили город, и страх ушёл, завеса недоверия и вины осталась. Наверное, именно она и притянула беду – в разгар зимы, когда случилась нежданная оттепель.

Первым заболел главный врач.

Симптомы очень напоминали недуг, который поразил жену циркача – слегка отёкшее горло, ломота в костях и мышцах, жар и бред. Старик утянул за собой всю семью, а на исходе месяца в редком доме обошлось без больных. Кто-то выздоравливал – сильные, крепкие, те, кто не имел недостатка в пище... Но много ли таких найдётся в городе, который дважды захлёстывала война?

Это сводило с ума.

Анаис сама не поняла, как сделалась в госпитале главной – то ли потому, что хворь её не брала, то ли потому, что стар-

ше и опытней никого не осталось. Бабка Мелош к тому времени уже неделю не поднималась с постели, но пребывала в здравом рассудке, ещё и ворчать умудрялась. Другим старикам приходилось ещё тяжелее. Самые слабые, они уходили первыми, даже раньше детей, и не помогали ни доктора, ни лекарства. Впрочем, люди в больницу за помощью вскоре обращаться перестали – и не потому, что им отказывали, а потому, что бесполезно.

Примерно тогда и выяснилось, что город держится не на армии, не мэре и не судье, даже не на пекаре, а на могильщике – или, может быть, мёртвых в какой-то момент стало слишком много.

– Четверо, – пробормотала Анаис, выходя из палаты. Те, кто там ещё оставался, кажется, не особенно-то и стеснялся холодных соседей. – Что же делать?

Шатаясь, она спустилась на первый этаж. Госпиталь точно опустел – навстречу ей не попало ни одного врача, ни даже медицинской сестры. На пороге курил человек в мундире, накинутом на одно плечо.

– Простите, – позвала Анаис. Зрение помутилось от бликов. – Вы мне не поможете? Нужно отнести мёртвых на кладбище... Тут рядом.

Человек повернул голову; на солнце волосы отсверкнули рыже-красным.

– Ну, я-то причём тут? Сама и тащи, – и он плюнул на брусчатку.

Анаис размахнулась и залепила ему пощёчину. Рыжий расхохотался, потом закашлялся и умолк, но с места так и не двинулся.

«Я... сама?»

Остальное слилось в дурную муть. Чужие двери – сплошь запертые; просьбы и сбитые о дерево кулаки... Некоторые дома были открыты. В один такой она даже зайти не смогла – в нос ударил запах гниения. Анаис сама не поняла, как оказалась перед порогом Хайма, забарабанила по дверному косяку:

– Открой, пожалуйста! Это я, – и сползла на мокрые ступени.

– Анаис?

Южанин откликнулся почти сразу, но не вышел, а выглянул через приоткрытую щель – похудевший, с запавшими глазами и словно бы постаревший.

«Теперь-то всё будет хорошо. Он поймёт».

– Хайм, – губы дрогнули в улыбке. – Помоги мне, Хайм. Там люди... умерли. Надо похоронить. Хотя бы до кладбища...

Замок щёлкнул оглушительно, как выстрел над ухом. Ответ из-за дерева прозвучал невнятно.

– Если ты за этим – уходи. Как передумаешь – возвращайся, уедем отсюда.

«А как же бабушка Мелош?» – хотела спросить Анаис, но не смогла. Зато сумела встать – и сначала пошла, быстрее и

быстрее, затем побежала, точно огонь, полыхающий в груди, разлился по венам и наполнил ослабевшее тело жизнью. Запнулась о камень, распласталась на брусчатке, снова поднялась.

«Не осталось никого, – стучало в висках. – Теперь ты одна».

Горечь бессилия поднималась изнутри, как волна, как война, захлёстывала с головой.

– Да пропади оно пропадом, – всхлипнула Анаис, приваливаясь плечом к фонарному столбу – на площади, где тысячу лет назад шумела ярмарка, и взмывали ракеты фейерверков к ночному небу, и девочка продавала красные яблоки, разложенные на перевёрнутом ящике.

Она вдохнула полной грудью – и за смрадом города ощутила вдруг запах дыма. Терпкого и горького, как от палёной шерсти, сладкого, как от сосновой щепки.

– Пастырь, – прошептала Анаис, невидяще распахнув глаза навстречу мгlistому небу. – Пастырь дымов и огней, приходи со всеми своими стадами...

«...за отца и мать...»

– Пастырь...

«...за всех, кому отказали в приюте...»

– Приходи...

«...за брата моего, отнятого, за всех братьев потерянных...»

– Приходи, – выговорила она едва. Горечь скопилась на

кончике языка, готовая сорваться одной просьбой. Но жар был сильнее; тот жар, который заставил Анаис когда-то протянуть руку – и схватиться за полу плаща; который не позволил ожесточиться, дал силы жить – всегда. – Приходи, пастырь. Помоги мне похоронить мёртвых – больше никому.

Она сказала – и ей стало легко. Потому что правильно; потому что сумела всё-таки позвать его *не для себя*. И край неба занялся багрянцем, словно все бомбы, миновавшие город, разорвались в один момент. А от горизонта поднялась чудовищная, призрачная фигура – такая знакомая, до боли знакомая.

Анаис закрыла глаза.

И потому она не видела, как со всех концов города занялись пожары – трескучие, похожие на фейерверки; как складывались крыши с хрустом, как ломались балки; как пламя затопило город – от спилей и до канав, до последней улочки. Но почувствовала, когда загорелось её платье, а ботинки стали расползаться лоскутами.

Наконец стало тихо.

– Посмотри на меня, Анаис, – ласково попросил пастырь.

...Он нисколько не изменился – высокий, выше на голову любой толпы; через плечо перекинута куцая косица, волосы тёмные с сединой; рубашка красно-оранжевая, того же цвета, что кромка свечного пламени, штаны заправлены в сапоги, расшитые серебром. Только пальто своё пастырь теперь держал в руках – и, лишь когда Анаис шевельнулась, наки-

нул его ей на плечи.

Странная ткань, текучая, как пепел, лёгкая и мягкая, облекла тело, как платье, сшитое точно по мерке.

– Пойдём со мной, зелёная госпожа, – улыбнулся пастырь, помогая ей подняться и увлекая за собой. – Здесь нам больше нечего делать.

Анаис хотела спросить, почему он так назвал её, а затем обернулась – и увидела лишь огромное поле, засеянное пеплом. И там, где она ступала босыми ногами, появлялись ростки – тимьян и клевер, как тогда, на пожарище. Ростки вытягивались, сплетались ковром, только вот цветов не было.

Но она знала: цветы будут. Всему своё время.

– Пастырь?

– Да, любовь моя.

– Что ты видишь? Я смотрю, а перед глазами всё расплывается...

– От слёз всегда так, моя госпожа. Плачь, это добрые слёзы... Я вижу людей, и те, кто сильнее, помогают немощным. Вон южанин несёт старуху на плечах; а там солдат ведёт детей за руки, пока их мать показывает дорогу.

– Они живы?

– Да, любовь моя. Все живы.

– Они... смотрят на нас?

– Да, госпожа моя, – пастырь склонился к ней и впервые поцеловал её – не в щеку, как сестру, а в губы. – А ты не

смотри. Наша дорога ведёт дальше.

Когда Анаис дошла до края поля, то не было уже пепелища – только цветущий луг. Старуха Мелош, стоя на краю, опиралась на локоть Хайма и шурилась; ей казалось, что в дрожании воздуха проступает что-то... кто-то...



Город отстроили.

Ещё не закончилась война, а он вырос на месте старого пожарища. Из прежних жителей вернулись немногие, хотя мэром стал человек местный, южанин по крови. И, говорят, именно он велел построить фонтан с красивой статуей девы, вроде бы похожей на погибшую возлюбленную.

Иногда в город приезжает бродячий цирк, и его хозяин подолгу сидит у этого фонтана, разговаривая с кем-то. Некоторые видели рядом с ним девушку, другие – девочку лет пятнадцати, третьи – молодую женщину.

Люди сходились в одном: она всегда улыбалась.

Охота за приливами

Впервые мисс Люггер столкнулась с одним из них ясным летним вечером, когда возвращалась с похорон отца. Отцветала сирень, распускался жасмин, и голова слегка кружилась от смешения запахов и от поминального сливового вина. С центральных улиц доносились голоса, приглушённые и искажённые, и это делало мир вокруг ещё менее реальным, точно сон или горячее видение, и невозможно было поверить в смерть единственного близкого человека, зато очень легко – в злые чудеса. Или в монстров.

Вроде того, что сидел на верхней перекладине забора, прикусив длинную травинку с сизовой метёлкой на конце.

Выглядел он, впрочем, не особенно-то и страшно – этакий долговязый франт в кителе проводника, зелёном, как мох на старых дубах на том берегу Мидтайна. В тёмно-русых волосах отчётливо проступала седина, особенно на висках, но мальчишеская лёгкая улыбка делала его сразу лет на двадцать моложе. Тонкие красивые пальцы, как у флейтиста, сжимали фуражку с блестящим козырьком.

Монстр болтал ногой, изредка задевая босой ступнёй нижнюю перекладину, и когда это происходило, старое дерево вдруг оживало, и на месте срезанных сучков проклёвывались нежные зелёные побеги.

– Симон, – охотно представился он, заметив насторожен-

ный взгляд мисс Люггер. – Когда-то – Симон Ландффрид. Ну-ну, не шарахайся, ты же смелая девочка. По глазам вижу. Но выглядишь так, словно...

– Словно плакала всю ночь? – грубовато откликнулась мисс Люггер.

Эти слова она сегодня слышала уже раз двадцать и сперва отвечала вежливо, пока от сочувственных вздохов тошнота не начала подкатывать к горлу.

Но Симон лишь головой качнул и спокойно закончил фразу:

– Словно ты здесь проездом. Прибыла издалека? Когда снова отправишься в путь?

От неожиданности она не нашлась, что ответить. А Симон ловко спрыгнул с забора, подошёл почти вплотную и осторожно перехватил её руку. А затем вложил в раскрытую ладонь... железнодорожный билет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.